

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevictor.ru/> Приятного чтения!

Русская мелодия
Виктор Петрович Астафьев

С возрастом утрачивается азарт и в чтении. Видимо, не ждуться уже те потрясающие, давние открытия, которые происходили при чтении «Робинзона Крузо», «Острова сокровищ», «Борьбы за огонь», «Всадника без головы» и «Робина Гуда», книг Гюго, Майна Рида, Фенимора Купера, не открывается дальняя земля, а может, и планета, где жили и озоровали похожие на тебя Томас Сойер и Гек Финн, где...

Виктор Петрович Астафьев

Русская мелодия

Об одном горьком покаянии

С возрастом утрачивается азарт и в чтении. Видимо, не ждуться уже те потрясающие, давние открытия, которые происходили при чтении «Робинзона Крузо», «Острова сокровищ», «Борьбы за огонь», «Всадника без головы» и «Робина Гуда», книг Гюго, Майна Рида, Фенимора Купера, не открывается дальняя земля, а может, и планета, где жили и озоровали похожие на тебя Томас Сойер и Гек Финн, где...

Ах, как много утрачивается из того, чему ты доверялся, чем восхищался в детстве, юности и былой обобранной до нитки молодости. Все чаще тянет перечитать что-нибудь из родной классики, еще и еще подивиться провидческому дару наших гениев: Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Ныне охотней читаются письма, дневники, статьи и книги о жизни и деяниях наших Великих соотечественников. Читая их, еще и еще поразишься и погорюешь о том, что вещи их слова не везде, не всеми услышаны и так мала отдача от их титанического труда. Все кажется, что они рано родились, не в то время мятежно и дерзко мыслили, шли на эшафот и костер за нас, за наше будущее. В дремучей тайге невежества, указуя нам просвет впереди, не напрасно ль они усердствовали и надрывались?

«Поэты не бывают праведниками, потому не бывают и отступниками. Проповедники и праведники должны быть всегда на высоте – таков их, извините, имидж. Столпник не может позволить себе кратковременного сошествия в кабак ради встречи со старым другом. А у поэта и „всемирный запой“ случается. Поэт „бывает малодушно погружен в заботы суетного света и среди детей ничтожных мира бывает – всех ничтожней он...“ Поэт столь же мучительно противоречив, как сама жизнь, даже не столь, а более – в нем жизнь многократно усилена, увеличена, его подъемы выше среднечеловеческих, а спады тоже „не как у людей“. Поэт не исповедник, а сама исповедь. „Святой, обращаясь к нам, начинает сразу с небесной истины, а поэт – с земной правды“».

Эта длинная цитата из письма поэта Кирилла Ковальджи, помещенного в журнале «Континент». Марина Кудимова, поэтесса и довольно активный деятель на ниве современной, растерянно пятящейся культуры, написала и напечатала в «Континенте» № 72 статью, в которой довольно резко раскритиковала Владимира Высоцкого, а заодно и его предтечу, Великого русского поэта Сергея Есенина. Сделала она это напористо, уверенно, не без публицистического задора, обвинив и учителя, и ученика в расхристанности, не случайно-де их прибежищем сделался блатной мир.

Оно вроде и правильно. Сам я и мое поколение, в большинстве своем, приобщилось к Есенину, а затем следующее поколение – к Высоцкому через «тонное» пение солагерников и соокопников, через альбомчики тридцатых годов, а современники – через хрипатые, ленту рвущие магнитофоны, зачастую не зная, чьи тут искаженные, но все равно певучие и складные стихи, чьи тут песни, выкрикиваемые хриплым голосом под гремющую гитару. Главное, думал я, и Ковальджи в своем письме так же подумал: люди, не читающие ничего, приобщались к поэзии. Пусть кому-то она

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru покажется и грубой, и примитивной, и безыдейной, но через нее и через них, Есенина и Высоцкого, в мир поэзии отчалила и уплыла масса народа. Вполне может быть, что они, эти «темные» массы, как и я Майн Рида, не смогут ныне и не захотят больше читать кумиров своей юности – «прошли их», а читают Бодлера и Вийона, Тютчева и Ахматову, Рильке и Данта, Хименеса и Ду-фу – и помогай им Бог! А я вот говорил и говорю еще раз спасибо родному Никитину за хрестоматийный стишок «Звезды меркнут и гаснут», который стал для меня путеводной звездой в безбрежный, радугой-дугой светящийся, вечно волнующийся океан поэзии! Кто, что были бы мы без поэзии и музыки?

Снова и снова дает о себе знать недавняя неотболевшая, неотторжавевшая, никак не отлипающая от нас привычка – требовать, чтобы «служенье муз» было суетливо, чтоб поэт не пел, как душа велит, а угождал времени, потрафлял вкусам вождей, унавоживал колхозные нивы хильми, зато патриотическими строчками, следовал бы букве наставлений, слушая и слушаясь власть имущих, удовлетворяя требования народа. Какого? И того, что потребляет литературу, когда идет в туалет с вырванной из книги страницей?! И того, что в советских казематах или в застенках Бухенвальда писал кровью на стене бессмертные строки? Слово НАРОД – не для прикрытия невежества и зверства да чьих-то партинтриг – человеком создано, оно существует для обозначения более сложных, важных и вечных надежд и истин.

Снова и снова вспоминаю, как совсем недавно, на сборище, именуемом Съездом писателей или «Объединенным пленумом работников культуры», верноподданическая говорильня приветствовалась бурными аплодисментами, шли какие-то куда-то выборы, оглашались длиннющие списки членов правления, комитетов, обществ, комиссий, зачитывались обращения, протесты, постановления, которые никто не читал и не слушал, затем удалялась куда-то – «думать» – партгруппа, ненадолго, правда – впереди банкет! На заключительном заседании перед изнемогшей от речей и пьянок аудиторией провозглашались фамилии тех, кому надлежало руководить нами и направлять литературу, а то и всю культуру по верному пути. Эти нами избранные деятели уже сами устраивали междусобойчик и распределяли обязанности.

Комедия выборов от Кремля и до леспромхозовского клуба осуществлялась по одной и той же модели, по давно наработанному одному и тому же сценарию.

И все привыкли к этому, и ныне есть люди, которые тоскуют по такому вот былому «порядку». Помню, что более всего разумных людей раздражали на этих собраниях, демократически осуществляемых выборах не сами даже заправилы – Л. Соболев, Михалков или Марков – чего с них взять? Таково их предназначение «свыше» – направлять и заправлять. Более всего бесили «шестерки из народа», которым вельможно доверялось оглашать списки, что-то возглавлять, кого-то проверять, подсчитывать, распределять и вместе с избранным сословием решать кому царить, а кому быть холопом.

Помню, как однажды, выйдя в коридор и вытирая пот с лица, хлопнул меня по плечу один бездарный романист, все время чего-то возглавлявший:

– Ну, старичок, и тебя вот не забыли, в секретари двинули!..

Очень он и его литературные патроны гневались потом, что никакого значения я своему секретарству не придавал и ни на одном заседании не бывал. Работал. Дома. Выполнял назначенное Богом дело, как выполняю его и по сию пору. Среди тех, кто взлетал на трибуну, чего-то провозглашая, зачитывая, указывая ли, довольно часто мелькала поэтесса Екатерина Ш...

Правление и секретариат считали, что привлечение к работе съезда писателей из глубинки, из настоящего народа не просто почетно, это очень даже свободой и демократией отдает – за активность, за старание и ораторский голос «творца» избирали в правление, когда – в ревизионную комиссию или в редакционный совет. Екатерину Ш... за активность и речистость избрали в секретари, и в редколлегии вводили, и очень много печатали, издавали – заслужила, заработала!

Не помню, на последнем или на предпоследнем съезде писателей Союза РСФСР увидел я стройную, спортивно сложенную женщину в кремовой юбке и черной блузке. К фигуре этой моложавенькой, физкультурной приставлено было однако довольно усталое, почти старое лицо. Едва я узнал Екатерину Ш... Уже не взвинченно активная, не бегающая озабоченно по залам: «Товарищи! Товарищи! Партгруппа собирается в комнате номер...» Она сидела в перерывах в стороне, угасшая,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
неразговорчивая, никому, казалось, и сама себе не радая.

Поэтесса когда-то написала: «Здесь солдаты умирали, защищая Советскую власть...», а Людмила Зыкина на всю страну эти слова пропела.

Тяжело, смертельно заболела поэтесса, в ней происходил тяжкий процесс прозрения. Она сама себе написала эту вот душу раздирающую эпитафию:

Над кладбищем кружится воронья,
Над холмиком моим без обелиска.
Будь проклято рождение моё,
В стране, где поощряется жульё.
Будь проклята былая коммунистка!

Будь прокляты партийные вожди,
Что были мной доверчиво воспеты,
Спешившие захватывать бразды
Правления над судьбами планеты.

Будь проклята слепая беготня
По пресловутым коридорам власти,
Бессовестно лишавшая меня
Простого человеческого счастья.

Будь проклято самодовольство лжи
С ее рекламой показных артеков!
Будь проклят унижительный режим,
Нас разделявший на иуд и зэков!

Жалко Катю Ш..., так поздно осознавшую земную правду. Талант и жизнь ее жалко, как жалко до стона тех, кто сейчас всеми брошенный, пребывая в одиночестве, бьется головой об стенку – горько недоумевая: за что боролся? Зачем жил? И не готов к покаянию не только перед Богом, даже перед собой.

Поэтессе Екатерине Ш... дано было исповедаться, покаяться в предсмертном крике, даже в стоне.

Поверь искренности поэта, Господь, и прости его, ибо он зачастую не ведает, что творит!

Где наш предел?

Из текущей публицистики

Ну вот еще год прошел, дело с изданием Собрания сочинений с места не сдвинулось, зато жизнь на Руси сдвинулась – она снова вступает в период борьбы «за светлое будущее».

Принявшее на себя молодое государство и народ наш нашествия и бури Востока, раскол церкви, дурновластие временщиков и всевозможных самозванцев, грудью защитившее Европу от полчищ Батыя, выдержав нашествие Наполеона и немецкого фашизма, сокрушившее их и снова спасшее Европу от коричневой и всякой прочей чумы, они – народ наш и отечество наше – никак не могут избавиться от чумы красной, самопорожденной.

Я дописываю это послесловие сразу после выборов в Государственную Думу, на которых большинство голосов отдано за коммунистов, снова переоравших всех, снова заморочивших доверчивую голову русского мужика (я говорю мужика, потому что активней всего и больше всех поддерживали и поддерживают авантюристов-коммунистов русская провинция, окраина России, наш сибирский и дальневосточный народ). Грядут перемены! Для начала коммунисты поглядят по головке неразумное дитя и даже кашки ему дадут, но потом начнут расправу над

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
народом, с ним в ногу не желавшим и не желающим шагать, снова стравят брата с братом, бедного с богатым, а поскольку богатых и богатства нынче достанется не то, что после Октябрьской революции, когда большевики Россию грабили-грабили, но до конца разграбить не могли, то «новые красные» нацелят россиян избивать друг друга за то, что у соседа земли больше, машина дороже, дети умнее, собака породистой, картошка растет крупнее.

Я понимаю, что далеко не все горячо вдруг возлюбили коммунистов, а в основном пенсионеры и в простое находящиеся рабочие, но чаще работу вовсе потерявшие – голосовали против нынешних порядков, разлада в экономике и в стране, против тех, кто не справляется с управлением страной, с тем разладом и раздром, которые, между прочим, коммунистами и порождены, и развал государства они же предрешили. Они, они, сумевшие перевалить болезнь и беду страны с большой головы на здоровую. Ну как это может колоссальное государство, крепко стоящее на ногах, колосс может рухнуть в несколько дней и свалить его может один или два человека. Какими титанами, какими гениями, какими богатырями-геркулесами надо быть, чтобы осуществить такое действие?! Но ни Горбачев, ни Ельцин таковыми не являются. И благодарить их приходится скорее за отвагу, чем за ум и силу. Ведь еще на девятнадцатой партийной конференции предводитель партии, генсек, прервав доклад, снял очки, печально глянув в зал, внятно сказал: «Ну, товарищи, даже мы не ожидали такого развала...» Да и сам я, да и я ли только, бывая на выступлениях и встречах с трудящимися, получал записки из зала, и в немалом числе: «Как дальше жить?» Иногда и ответ был тут же: «Так дальше жить невозможно...»

И вот люди от дури, от риска ли и безрассудства своего, взявшиеся за работу, чтобы жить было возможно, подверглись травле, ругани, оскорблениям, провокациям, втягиваниям в конфликты, вплоть до кровопролития. Выйдя из коммунистов, они, в первую голову они, ощутили и знали, какая подлая сила действует у них за спиной, мешает, не гнушаясь никакими способами и средствами, осуществлять начатую работу по разваливанию страны. «Красные» не изменились и не изменятся, и остается лишь поклониться главам государства, переживающим, быть может, самую сложную пору за всю свою историю, за то, что они не опустили до ответной кабацкой и уличной брани, не обзывались, не лаялись, как ямщики на постоялом дворе, но даже наоборот – дали обнажить себя, во всей красе себя показать их хулителям, «борцам за народ». Борцы эти рвутся к власти и могут прорваться, как Наполеон, позорно бежавший из ссылки на короткое время, и тогда кончится их счастливое время, когда, прикрытые спинами нынешних правителей, они нагло и бесстыдно вставляли им шило в мягкое место, делали подножки, плевались, дрались в парламенте, громко материли неугодных супротивников на всю страну, травили, как собачонок, разгоряченных демократов, подставляли под пули и снаряды неразумную толпу, оставаясь при этом на обочине, в сторонке. Ведь ни один депутат при штурме Белого дома не пострадал, и в тюрьме сидевшие защитники кровопролития и провокаторы не испытывали тех страданий, не подвергались тем издевательствам, каким подвергались ни в чем неповинные люди, хватившие горя в советских тюрьмах, на мерзлой земле гулаговских лагерей.

Но главное, не поумнели, не прониклись горем народа, а еще больше остервенились, не пришли к Богу, но еще ближе соединились с сатаной. Товарищ Руцкой тому самый яркий показатель или уж точнее – экспонат. Скричагая зубами, называя себя то президентом, то советским генералом, он, слава Богу, перестал называть себя, как бывало, русским офицером, ибо трижды побывав в плену, должен был трижды застрелиться от бесчестья, как и подобало русскому офицеру. Но что такое бесчестье для человека, который о чести и понятия не имеет. Вот он собирается стрелять других, или уж в четвертый раз в плен рвется, иль смирительную рубаху вместо мундира тянет на себя.

И как бы один Руцкой был такой «храбрый»! Рабы двадцатого века, замордованные, трусливые, часто подлые, прошедшие выучку насилия и страха, получили возможность ругать власти прилюдно, не на кухне, а на площадях, и эк из них поперло! Эко их понесло! Гневаются до того, что аж нравятся сами себе. У японцев если хозяин-наниматель не глянется рабочему, он бьет палкой чучело, специально для этой цели изготовленное, а у нас глотку дерут и еще... еще стихами исходят. В последнее время в моей почте в каждом втором конверте – стихи, половина из них – безграмотно, в столбик написанные стихотворные изобличения режима и Ельцина. Ах, не хватает ни ума, ни воображения представить изобличителям и ниспровергателям режима, что было бы с ними, если б в начале перестройки и при попытках переворота, в том числе и кровавого, что было бы нынче с ними, кого бы они и что изобличали на площадях в стихах своих, если б добры молодцы – Руцкой и посланец

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
«дружественного» Кавказа – установили свой, коммунистический, режим? Ведь, находясь в осаде, в Белом доме, они уже поторопились провести «свою сессию» и без лишнего проволочек, юридических тонкостей приговорили и действующее правительство, и всех «не наших», в первую голову ненавистную, вольнодумную интеллигенцию к смертной казни, к лесоповалу и рудникам.

В списки те попали и такие деятели театра, как Захаров и Ульянов. Ну ладно, Захаров – еврей и нечего ему жить на русской земле, ну, а Михаил-то Александрович Ульянов, коренной сибиряк, великий артист – чем он-то прогневил «патриотов»? Наверное, тем, что в трудные дни скрепя сердце, попустившись прямой своей работой, почти перестав выходить на сцену и сниматься в кино, возглавил Российское театральное общество и взял на себя тяжелейшую работу по восстановлению сгоревшего в самом центре Москвы старинного помещения этого самого театрального общества. Несмотря на смертный приговор, работу эту он сделал, снова выходит на подмостки и гениально играет в пьесе бессмертного Островского «Без вины виноватые».

Но все наше неразумное бесовство, всю нашу дурь не описать, не понять, приходится лишь соглашаться с великим Тютчевым, что «в России надо только верить». И придерживаться древней мудрости, что только у времени нет смерти и оно, оно, бессмертное, разрешит и рассудит наши дела, наши поступки, наши свершения и преступления, а Бог, будем надеяться, простит нас за наши многие и тяжкие грехи.

Вот одно из веяний быстро текущего времени: вышло решение в Кучинской политзоне сделать мемориал политзаключенных. Подумать только – не охранную зону природы, не заповедник с редкими животными, а мемориал замученных, ни в чем неповинных людей – наших соотечественников! И возглавить эту работу поручалось университетскому другу моего сына – оба они родом чусовские. Но иудушка Зорькин в Конституционном суде уже бросил наживку новым государственным деятелям о восстановлении низовых коммунистических организаций, и они ее заглотили – и опомниться не успели, как красная гидра, вроде бы изрубленная на куски, обезглавленная, тут же срослась в единое змеиное тело, ударила хвостом – и тут же «революционная пламя» охватило – всюду забегали, затрясли кровавыми знаменами и портретами «отцов народа» старые, с выпадающими челюстями, но все еще неистово злые, горластые патриоты.

Поскольку весь Урал, промышленный городок Чусовой в том числе, был осыпан лагерями, то и тут образовалась оголтелая кучка защитников «светлого прошлого», из этой лагерно-тюремной obsługi, терпеливо дожидавшейся своего часа и твердо надеющаяся еще послужить во имя справедливости и свободы отомстить всем, кто их лишил такой «нужной народу» работы, посмел говорить и писать о них непочтительно.

Словом, дело с Кучинским мемориалом заглохло, и если власть снова захватят коммунисты, они еще раз и поскорее сравняют бульдозерами «исторические места», связанные с репрессиями, чем разрешат открывать мемориалы, закрепляющие в истории их достославные деяния.

Ну, а прах Великого украинского поэта и гражданина Василя Стуса, покоившегося в селе Копалино, рядом с кучинской зоной, на скорбном лагерном кладбище, земляки его, настоящие украинские патриоты, увезли «домой», выкопали, увезли и захоронили с почестями при огромном скоплении народа в Родной земле.

Течет, бежит время, не имеющее смерти, и скорбит Господь, глядя на нашу жизнь, и никак не может унять нас, успокоить, остановить наш бег к пропасти, к самоуничтожению.

Так и видится все в исходном свете, при утхающей свече: в одном конце земли – многотысячная процессия несет с плачем и раскаянием к месту погребения замученного поэта, неподалеку, на площадях, мечется, оскалив зубы, существо, которое уже и человеком назвать затруднительно, рычит, выкрикивает лозунги и призывы, зовущие на новую борьбу, существо жаждет, требует новых жертв, новой крови, новых мук и страданий.

Господи! Где наш предел? Где остановка? Укажи нам, окончательно заблудившимся, путь к иной жизни, к свету и разуму! Господи! Ты же обещал нам его, указывал, но мы оказались непослушными чадами, норовистыми, свой разум куцый с гордыней своей

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
выше Твоего вознесли и в беге, смятении, в вечной борьбе за свободу и счастье, не понимая, что жизнь, которой Ты нас наградил – и есть высшее счастье и награда, а свободой, значит, и собой, по Твоему велению мы обязаны распоряжаться сами. Но мы не справились с этой первой и единственной святой обязанностью, впали в тяжкий грех отрицания всего разумного, нам свыше дарованного.

И прости нас, Господи! Прости и помилуй. Может, мы еще успеем покаяться и что-то полезное и разумное сделать на этой земле, и научим разумно, не по-нашему, распоряжаться жизнью своей и волей наших детей и внуков. Прости нас на все времена, наблюдай нас и веди к солнцу, пока оно не погаснет. Говорят, лишь через многие миллиарды, и, может быть, этих миллиардов лет хватит для того, чтобы просветиться и окрепнуть человеческому разуму.

Постойте – поплачем!

В газете «Красноярский комсомолец» за 10 июня 1986 года рассказывалось, как две девочки 16 и 17 лет зверски избили свою сверстницу. Произошло все это на дискотеке во Дворце культуры КрАЗа. Материал так и назывался – «Случай на дискотеке».

В ходе следствия выяснилось, что никто, в том числе и пострадавшая, не придали случившемуся особого значения. Дело, в общем-то, обычное (!). Да и во внешности всех трех девушек нет ничего, выражающего жестокость или хотя бы грубость. А главная «героиня» Ирина и вообще очень привлекательна. «Высокая, белокурая, с тонкими, выразительными чертами лица, – пишет журналист. – Работает продавцом и учится в 10-м классе вечерней школы. Увлекается волейболом, читает фантастику. Трудолюбива. А еще любит детей. В семье старшая, кроме нее двое малышей, и она с ними с удовольствием возится, опекает...»

И вот она, эта «белокурая, с тонкими чертами...» бьет сверстницу... ногами. Впрочем, внешность обманчива. Именно так! Почитайте Ирнин диалог с судьей, и вам все станет понятно.

Ира:Может, ничего бы не было, если б я не была пьяна.

Судья:Где вы взяли спиртное?

Ира:Сложились, купили в магазине.

Судья:Вам никто не мог продать.

Ира:А мы прохожего парня попросили.

Судья:И пьяные пошли на дискотеку?

Ира:А так многие ходят.

Чтение статей подобной тематики приводит в уныние не только старших людей, родителей, педагогов, но и нас, работников искусства и литературы, ввергает в полную протрацию, припирает к стенке, распластывает на ней. Из груди так и рвется крик: «За что боролись?..» И не только мы.

За что же боролись и страдали, гремели цепями, гнили в казематах, положили головы на плахи, сгорели на кострах великие ученые и борцы? За духовное величие человека, за его нравственное возвышение? «Куда смотрели» Лев Толстой, Достоевский, Шекспир, Пушкин, Лермонтов, мы – нынешние служители слова, а говоря пышно – «творцы»?!

Ведь тут вольно или невольно возникает вопрос: а зачем я работал и работаю? Зачем оглох от перенапряжения сил своих и могучего таланта гениальный Бетховен? Зачем было не менее гениальному Рубенсу, когда у него отнялась правая рука, учиться писать левой? Зачем явились миру Моцарт, Вивальди, Бах, Верди, Чайковский? Неужели напрасно, впустую, не ради спасения чести и духовного

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
возвышения народа русского шли под пули Лермонтов, Пушкин? Для чего, сгорая от чахотки, в холодной каменной камере страшной крепости мучительно умирал и не унижался до выпрашивания милости поэт Полежаев, который был чуть старше девиц, нажавшихся непотребного зелья и обратившихся в животных. И я прошу не смягчать выражения этими привычно-обтекаемыми газетными увертками типа: «несозревшие», «недовоспитанные», «встречаются отдельные недостатки и негативные явления», «недостаточное влияние коллектива». Я тоже работал в газете. Долго работаю на «ниве», владею способами прятать правду и закрывать глаза на последствия от этих «пряталок».

А они вот налицо, и «на лице» – последствия эти.

Юные девицы, школьницы еще пользуются благами общего образования, именно как благо, как чудо, как награду мы еще в начале тридцатых годов восприняли возможность научиться читать, писать и считать. На нас с надеждой и завистью смотрели наши деды, матери и отцы – научатся дети, грамотные будут, совершенными людьми сделаются, станут жить лучше, пойдут дальше.

И вот пришли. Наши внучатки устремлены в туалет концертного зала бить морду друг другу, выдирать волосья, пинать женщина женщину! Каблуком модной туфельки. Перед этим фактом меркнут все наши достижения и устремления, все наше прекраснотворение, все красивые слова выглядят пустой болтовней.

Поразителен тон самой статьи – деловито-спокойный, почти бесстрастный, с выводами и моралью, с упреками и назиданиями. Тут в пору караул кричать, в колокол бить, срочно общественность на пожар созывать!

И ни единого словечка об ответственности работников искусства, того самого искусства, которое пробуждает в человеке низменные чувства, жестокость, агрессивность. А ведь именно затем, чтобы взвинтиться как физически, так и сексуально, собирается эта молодая толпа, точнее, стадо в тесные залы, где потно, плотно, горячо, где тело к телу липнет, где действуют ноги и то, что выше их, а голова приложена для того, чтобы на ней болталась прическа или чаще нечесаные лохмы.

По мне, так вместе с этими сопливыми девчонками, которые жаждут острых ощущений, в зале суда должны быть и те, кто потрафляет всему этому, поставляя суррогаты музыкального свойства, помогая пробуждать животные чувства и дикие действия у незрелых юнцов, которые берут, да что берут хватают то, что ближе лежит. Да им и хватать не надо. Им всунут, поднесут, в рот положат продукцию с названием «пошлость», и многие из них, многие – я настаиваю и на этом определении – так никогда и не узнают и не соприкоснутся с тем, что зовется прекрасным, останутся ограбленными на всю жизнь. И в этом надо винить не только родителей, педагогов, вялое возмездие судов, свое общество, закрывающее глаза на будущее своих детей, а значит, и свое, наше будущее, так услужливо идущее на поводу у незрелых юнцов, о морали человеческой лишенных какого-либо понятия и не желающих знать, что такое нравственность, с чем ее и зачем «едят»? Пусть козлов в огород съедят капусту, а в нашем «огороде» растлеваются на виду у всех, съедаются души юные, развращается тело и вянет ум, и при всем при этом мы много, равнодушно и нудно толкуем о будущем, твердим о вере в него.

На каком основании?!

В древней Аравии, на заре человеческой истории, поэт Имру иль Кайс призывал собратьев по Земле: «Постойте! Поплачем!»

На исходе двадцатого века в стране всеобщей грамотности юные, школу посещающие существа бросают вызов друг другу: «Пойдем в туалет, я тебе морду начищу!» А молодежная газета – да только ли она одна? – констатирует этот факт и живет себе дальше.

А в это время гремит, беснуется, моргает светом, визжит, дымит, охает, улюлюкает «искусство», подыгрывая пьяно топотящей толпе, на которую глядя, невольно вспомнишь слова английского поэта, погибшего под Арденнами на войне в возрасте этих вот самых танцоров: «И вертится Планета, и летит к своей неотвратимой катастрофе».

Хомо Технократус

Ответы на вопросы (киевский сборник)

У меня и со здоровьем, и со временем не очень хорошо, поэтому коротенько отвечу на вопросы анкеты и попрошу простить меня за то, что не смогу принять более весомого участия в интересно задуманной книге.

1. Повидавши разгром природы на Урале, гибель деревни в средней России и наблюдая варварское, колониальное отношение к природе, земле и богатствам Великой, богатейшей страны под названием Сибирь, с горьким недоумением глядевший в погибшие воды рек Европы – Эльбы, Рейна, Сены, я никакого оптимизма насчет будущего земли высказать не могу, хотя и рад бы. По этой же причине не верю и в мировую гармонию, тем более достижение ее посредством научно-технической революции. То, что мы именуем гармонией, вообще недостижимо при таком хозяине Земли, как хомо сапиенс, существе, на мой взгляд, лишь во взлетах отдельных гениев и мыслителей, доказавших, что он мог бы образумить варваров словом, искусством, мыслью, но, увы, на одного мыслящего и трудового человека во все века наваливались тучи кровожадных насильников, дармоедов, лжецов, и они в конце концов добились своего, растоптали святое, реалистическое искусство, надругались над словом, над здравым смыслом, с приплясом, визгом, хохотом двигаются ко краю пропасти.

Мне иногда кажется, что человек занял чье-то место на земле. Сожрал на ходу того, кому была предназначена эта прекрасная планета, и даже не заметил этого. Не верю, не хочу верить, чтобы такие дивные и беззащитные цветы, деревья, животные предназначены были для того, чтоб тупое существо растапывало их, сжигало, обхаркивало, заваливало дерьмом.

2. Взаимоотношение экономики и экологии в том виде, в каком их «изготовил» человек – несовместимы, как гений и злодейство. Примирение их? Не Вам, живущим рядом с Чернобылем, задавать такие благодущные, если не безответственные вопросы.

3. Не знаю. Уже не шаги нужны, а целый переворот в сознании человека, в его взаимоотношениях с природой-матерью.

4. В этом веке человеку уже не остановить бешеного, нахрапистого и расхристанного наступления на природу. Но преуменьшить зло возможно, начав вместе с разрушением лечение Земли и неба. Спасти и спасти будущее планеты и людей возможно простым и всем доступным способом – уже сейчас, с детского садика начавши воспитание детей по законам созидания, а не разрушения, и с самого раннего возраста повседневного, постоянного общения детей с природой, для чего необходимы уроки природоведения везде и всюду, и неперенного участия детей в восстановительной работе по всей земле, приобщения к крестьянскому труду. Война и войны ничего, кроме зла и хаоса, на земле не сотворили, и солдата с ружьем, человека с топором должен заменить труженик с лопатой, молотком и саженцем в руках, Иначе – гибель всем и всему.

5. Роль культуры? А что Вы имеете в виду? Какая может быть культура с таким всеобщим низким сознанием, с таким агрессивным характером человечества? Может быть, поменьше сочинять лжи и таким образом меньше будет истребляться лесов на бумагу, меньше малевать псевдо-живописных полотен, не снимать пустопорожних кинофильмов и таким путем экономить шерсть ценных животных, употребляемую на кисти, масло, серебро, золото и прочие редкие материалы.

6. Каждому человеку пора садить, а не рубить; строить, охранять, спасать, а не болтать всуе о спасении земных ценностей, самой земли, как и о гибели ее.

7. Я уже давно не беру в руки ружье.

С карабином против прогресса

I

Прошлым летом я проплыл по Енисею от Красноярска до Диксона. Поездка на комфортабельном туристском корабле дивная, однако совершенно бездеятельная, и это не для меня. Но если нет дела ногам и рукам, глаза-то видят, ухо слышит, память работает.

И светло, и грустно было у меня на душе. Первый раз в северную сторону я плыл на пароходе «Ян Рудзутак», который и до того, и после переименовывался еще не раз, дни свои окончил под именем «Мария Ульянова». Говорят, что какую-то часть пути по Енисею в проклятую царскую ссылку Ленин проделал на этом пароходе, в отдельной каюте, на корабельной койке с простынями. В годы великих строек на этом же судне, как свидетельствуют бывшие многочисленные советские невольники, и в частности старейший наш писатель Олег Волков, – «человеческий материал», в том числе и политзаключенных, возили уже насыпью в железных трюмах, пропахших соленой рыбой, и, случалось, трусливый конвой до самой далекой Дудинки, расположенной на высоком и воистину «диком берегу», не выпускал подконвойных на воздух – крут замкнулся, но «Ульяновы» везли нас в разные стороны.

В ту пору «Ян Рудзутак» отапливался дровами, и был он весьма прожорлив: сутки шел, полторы забивался дровами, так что времени полюбоваться природой и ознакомиться с жизнью северной стороны было в досталь.

Увы, тогда, в середине тридцатых годов, северные приенисейские земли выглядели более обжито и возбужденно, нежели нынче. А вот горевать об этом или радоваться этому – я не знаю.

В последние годы, во времена величайших парадоксов или катаклизмов одно из любимых ныне обиходных словечек – порой уже черное выглядит белым, безнравственное нравственным и наоборот. Не раз и не два за рубежом показывали мне магазины и музеи, забытые нашими духовными ценностями. В Вашингтонской картинной галерее директорша крупнейшего нашего достославнейшего музея показывала мне целые залы, заполненные бесценными русскими иконами, картинами, прикладными видами искусств и, горюя, заключила: «Плакать бы надо, а я хоть и не радуюсь, но мирюсь с этим здесь все это бесценное добро сохранится для человечества, а у нас? Вы бы заглянули в наши запасники...»

Вот и я, глядя на пустынные енисейские берега, на взлобки в устье звонких речек, украшенные завалившимися скелетами изб, заросших бурьяном, поражался еще раз тому, как умело, можно сказать, роскошно ставились российскими переселенцами села и станки по Сибири. Мало им большой реки, непременно еще и устье речки, а то и двух, шевелящих бурным устьем надменные воды Енисея отыщут, заселятся обязательно напротив островов с буйными выпасами, набитыми по берегу ягодниками, с песчаными и галечными приверхами и осередками для нагула рыбы, а за околицей села кедрачи и боры, набитые орехом, ягодой, грибами, диким мясом и пушниной. Отчего, почему ушли с этих изобильно-сказочных мест в ад современных городов наши поселяне? Читайте газеты и книги «деревенщиков»-писателей – там есть ответ.

Однако ж не бывает худа без добра и добра без худа, Может, хоть таким вот, как всегда у нас, очень хитрым и сложным манером мы сохраним для потомков часть пашенной земли, тайги, тундры, реки, озера?

Не скрою, такие мысли приходили ко мне и в пустыне Гоби, роскошно, по-весеннему цветущей в сентябре, в обезголосевшем, погасшем Северо-Западе России, в Эвенкии, простершейся от Енисея до Лены, и вот на родном Енисее, на всем почти трехтысячекилометровом его пространстве, от Монголии до Диксона. Что делать, если мы сами под себя гадим и скорее убегаем с загаженного места. Коли, как сказал Хольман фон Дитмар на Варшавском конгрессе сторонников мира: «Если б кто-то из космоса посетил нас, нам бы с трудом пришлось убедить пришельца в том, что человечество еще не совсем спятило...»

Но это говорилось десять лет назад, и за это время человечество весьма и весьма преуспело в продвижении в сторону сумасшествия. Думаю, что в движении сем, не делающем чести существу под названием ЧЕЛОВЕК, мы, жители Великой, в убожество впавшей державы по масштабам разрушения природы и самих себя занимаем отнюдь не почетное первое место, идем в авангарде, так сказать, движения к краху и полному банкротству.

Но чуден, все еще чуден Енисей летней порою! Есть по его течению места, когда сотни километров, словно на фантастической киноленте, сменяются виды один прекраснее другого: вот версту-другую, забредя в реку по грудь, стоят могучие утесы, быками их здесь зовут, по утесам где гривы леса, где отдельная сосенка, частью корней, а то и одним корнем уцепившаяся за родной камень, и по каждой проточине, по каждому распадку ворохи кустарников акации, жимолости, таволжника; по всем утесам кипень цветов примулы, жарков, лилий, орхидей, среди которых золотыми самородками светятся красодневы. Увидев эти красодневы в Колумбии, я, помнится, заорал от счастья, будто самое себе родное узрел, и всех заверял, что эти в желтый рупор кричащие цветы неведомым путем попали сюда из Сибири, и хотя меня заверяли, что, пожалуй, все было наоборот, я упорно не соглашался с вескими доводами и со всякой ботанической наукой.

Сразу же за обвальными, реку стеснившими скалами – сосновый бор, прямо и плавно к реке подступающий, либо луг, просторно, в наклон, расцветшими волнами захлестнувший берег. Даже на Севере, в Заполярье, среди болотистой низменности, перебрасываясь с каменного высокого берега к наволошному, низкому, Енисей не утомителен, не однообразен. Он здесь, в северной-то вольности более тих, добродушен, светел и приветлив, так и зовет он, манит взор заглянуть дальше, дальше, уплыть за край земли, за мерцающую кромку, где синими отводками светятся, но не сходятся берега, уходящие в небо, в просторы уже неземные.

И сколько бы ты ни плыл, ни ехал, в какую бы даль ни заглянул, меж камней и скал по оподолю берегов и лугов, по островам и косам валяется лес, превращенный в древесину. Валялась та древесина в тридцатые годы, валяется и поныне. Пассажиры и команды судов возмущаются, впадают в удручение: ведь нет бумаги, не из чего делать мебель, на юге десятки тысяч домов ждут «деревянную фурнитуру», отапливаться нечем. Но они, проплывающие-то, видят лишь «свежее», то есть древесину нынешнего поруба и сплава. Если же заглянуть за бровки берегов, в прибрежные заросли, в водяные отноги, в старые русла, высыхающие летами, там вы обнаружите залежи леса многолетней давности. Туда высокой весенней водой река стыдливо прячет грехи нашей родной лесопромышленности. И что интересно, там, в гнусом кипящем «зажердье», в захлестнутых пыреем и дудочником низинах, можно повстречать внакрест, многослойно лежащие, уже догнивающие и только-только запревшие – сосну, ель, кедр в два-три обхвата объемом, а навстречу теплоходу, где и в обгон (попробуй, пойми логику и причудливость нашей экономической мысли!) прут на железных палубах тупорылые самоходки пустотелый, в кулак толщиной пихтач, осину, вот уже и березник потартали повыпластали, погноили, пожгли, шелкопряду и разной лесной твари стравили промышленные-то сибирские леса ретивые хозяева лесов и недр. Леса русские большей частью уже существуют только на старых картах и в отчетных бумагах наших доблестных руководителей страны и не менее доблестных лесопромышленников, ведущих нас все быстрее и быстрее... – вот чуть не написал привычное – «в светлое будущее», – да уже устала рука это писать, а глаз – читать.

Не раз и не два думалось: вот ежели бы всю древесину, брошенную и погубленную только по берегам Енисея, обратить в денежные купюры, мы бы, как в траве, по пояс в сотенных купюрах до самого Карского моря брели, в тех еще, не обесцененных и не хитро обмененных сотенных. Кстати, и в Карском море, в проливе ледоколы часто пробивают путь не во льдах, а в березах. И грех вроде бы так думать, но все же и хорошо, и ладно, что ушли с берегов-то, побросали дома – современные насельники, лишнее не срубят, окончательно тайгу недопалят, рыбу аммоналом не доглушат, мелкой сетью не выгребут, зверя не порешат, может, чего и ребятишкам останется. Мы их и без того уж так ограбили, обобрали, что жить им дальше совсем нечем становится, жрать нечего. Мы-то хоть за границу еще лесишко, пушнину, ту же рыбешку да нефть и газ загоним, а им-то чем спастись, чего продавать, чего менять? Свои мозги и рабочие руки? Или уж на колени становиться и милостыню Христа ради просить? Да они сплошь уже безбожники, ни во что не верят, в том числе не особо и надеются, что их от прогресса натерпевшиеся, в городах настрадавшиеся отцы и матери вернутся на сии берега поумневшими.

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru

Поразбросавши добро, расторговавши ресурсы, потерявши себя по пути к мировому коммунизму, советский человек начал метаться, взыскивать сил небесных и чуда, и на хорошего царя надеяться, под шумок грабя ближних и потроша ближнее ради сиюминутных благ. Хорошо бы, чтоб они, эти блага, с неба свалились. Да закоптели мы и запаковали небо, сквозь промышленный дым и душевный мрак ни Божьего лика нам не видать, ни гласа небесного не слышать. В пустыне живем, в бездуховной, бескормной, безводной, а пустыню ту сами творим...

Осенью прошлого же года я попал в таежный утлок, который и для нашего, богатого, местами еще и роскошного края – редкость.

Есть в Сибири приток Енисея под названием Сым. Река эта начинается с Приобской низменности, в Енисей впадает между крупными селами Ярцево и Кривляк, а навстречу ей, от Енисея к Оби неторопливо течет братец Тым. На Тyme я не бывал, а на Сyme поосеневал уже дважды, и хотя удивить меня уже трудно, все же подивился причудам и фантазии природы.

Сым то бурно в перекатах, то успокоенно, почти сонно в плесах, течет среди белых чистых песков. И все прилегающие к Сыму пространства состоят из этих вот песков и болот, образовавшихся по поймам иссякших рек и высохших озер. С вертолета очень хорошо видно, как тут трудно возникла и укреплялась жизнь. Леса, в основном сосновые, реденько стоят как бы во вскипевшей пене – это белые мхи, на сотни верст здесь покрывающие лесотундровые пространства. И лишь по берегам реки Сым, его притокам, по низинам старых русел и пойм, по сырым пластушинам бывших озер смешанно стоят, украшая землю, смешанные леса, охваченные таким ярким буйством, что глаз от него не оторвешь. Все-все, что происходило и происходит со здешней землей, весь ее путь к жизни, борьба за жизнь, очень нелегкая, читается сверху будто по ученическому букварю. Лесок по берегам рек и в ближнем отдалении скособочен, полубодран, полусух, сосенки сплошь тохонькие, покрытые по стволам серыми лишаями, еще в детстве впавшие в старушечий возраст, веток на них больше голых, чем с хвоею. Но они, эти старухи подросткового вида, стоят и веками несут нужную земле службу, закрепляют пески корешками, удерживают сыпучую почву, и, глядишь, меж ними возросли мхи, по мху ягодники, взнялась пышнотелая зеленая сосна, мятежно взнявшись надо всей мелкотой – царица здешних земель. Но и это диво еще не самое дивное. На песках сыпучих случается многоверстный бор из таких вот цариц. Просторно стоят чистые, жаровые сосны, одна другой пышнее, осанистей. Их немного по Сыму, этаких вот достославных сосновых боров, как во сказочной светлице, бело и чисто поотдолю убранных ковром расстилающегося мха, а по нему, по мху-то, в середине лета будто насыпаны кем-то меж сосен белые грибы; к осени ближе – свадебным одеялом покрывается подножие сосен, алые боры задыхаются от зоревого ягодного жара.

Вся лесная жизнь, птица, зверек малый и большой – жмутся к бору, кормятся от него, им спасаются, люди строят, точнее, строили жилье из сосняка, рубили бани, стайки для скота, пилили доски.

Но вот и промышленники добрались до сих ранимых мест, начали валить здешние боры на экспортную продукцию. Понятно, нужда заставила, острая потребность в первосортном лесе на Сым-то заготовителей загнала, в других, более доступных, местах спелые леса сведены под корень, вредителям стравлены, сожжены, утоплены, брошены.

Во-он, под брюхом вертолета оголенная белая жила – это проложенная лесозаготовителями дорога. Извилист, неверен, крючкотворен и губителен этот путь: едут машиной, куда ехать нельзя, гребут, чего трогать природой возбранено. В нем, в этом пути, как на военной кальке для стрельбы пушек на поражение, отчетливо прочерчена пагубная деятельность новоявленного, передового общества. Вперед, вперед, все вдаль и вдаль, в темь лесов, в болота, в гиблую трясину, хватай, гребь, шуруй кто во что горазд, потом разберемся, что к чему, а пока все тут хозяева, всем надо план выполнять прокорма ради, и всем на землю эту, как и на все родные земли, наплевать. Ничья земля. Бросили ее, и она перестала быть родной. А эту вот, сымскую-то, безгласную-то, безлюдную-то, и вовсе не жалко. Где ее хозяева? Жили, говорят, тут какие-то бое, да пропали, видать, спились, заблудились на вилючей дороге социализма, идя ко всеобщему братству и просвещению.

И очень даже было удивительно, просто до слез обидно и властям, и лесозаготовителям, и налетному люду, когда на порубежье Сымского бора, на берегу

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
какой-то плево́й речушки Иштык встали с ружьями и карабинами какие-то нерусского обличья людишки и прервали дальнейшее победоносное шествие нашей настырной лесопромышленности, ведущей кривую дорогу, в потайку вознамерившуюся строить мосты, опорные базы, лесопункты.

Живы, оказывается, косоглазики! И, мало того, стрелять еще не разучились и оборонять себя и свою землю готовы, раз никто их не обороняет, а все только преобразуют, светлое будущее сулят. Последнее время, правда, не сулят ни светлого будущего, ни продовольствия, ни школ, ни книг, ни табаку, ни пороху.

Удивились лесозаготовители, отступили. И тут как тут новые отряды строителей и покорителей, новые заботливые посланцы страны социализма – на этот раз разведчики недр. Они давно уж рыскают по Эвенкии и по прилегающим к ней окрестностям в поисках газа и нефти. Дело, видать, худо. Погублены огромные площади в Тюменской и Томской областях, истреблено, пролито, сожжено, продано – миллиарды тонн нефти и газа. Пропиты, прожраны, украдены миллиарды, вырученные за браконьерски, преступно, хищнически выхваченные богатства из российских недр. Сладко во гробе спят вожди мирового пролетариата, радетели и благодетели наши: Хрущев, Брежнев и примыкающие к ним, горько наше похмелье, отпелись мы жизнерадостно: «идем все шире и свободней, растем все дальше и смелей, живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Веселей уж дальше некуда. Особенно весело бывает, когда в Кремле присутствуешь на Съезде депутатов СССР, пуще того весело, когда смотришь по телевизору действо, именуемое Съездом российских парламентариев.

Не научились мы за семьдесят-то лет ни разумно заседать, все за нас мудро думали и решали «тама»; ни по-людски хозяйствовать, хотя признаться в этом стыдно и обидно, зато рвачествовать, браконьерить, самих себя обжуливать так мы наторели, что уж могли бы в столице нашей Родины школу передового опыта для всего честного мира открыть.

Но кто же признается, что вот на Сым, в эту ранимую, невинно чистую природу люди вламываются со злыми, корыстными намерениями? Нет, как всегда у нас, только для того, чтобы облагодетельствовать, сделать нас еще счастливей и богаче.

Но народ-то, народ-то уже во все эти словесные блага не верит, он уже наслушался сказочек. И сопротивляется как может. Уметь-то еще не умеет, организованной борьбе лишь учится, но для сопротивления внутренне созрел, вот и митингует, чаще, правда, «права качает» на кухне, с женой вдвоем и шепотом – на всякий случай, но, как видите, иногда уж и из леса выходит, даже с ружьем.

На Сыме, на всем протяжении реки, а это семьсот с лишним километров, после всех социалистических преобразований, жестокой расправы над старообрядцами и преобразованием жизни малых народов осталось одно лишь поселение – Сымская Фактория.

Живет в поселке 130 человек: кэто, эвенки, русские. Про население это на недавнем совещании, проходившем в Сымской Фактории, в присутствии заместителя председателя крайисполкома Абакумова и районного начальства записано в протоколе вот что: «Социально-экономическое положение коренного населения территории Сымского сельсовета находится на низком уровне. Обеспеченность жилплощадью – 6 квадратных метров на человека, жилье ветхое. Объекты социальной сферы находятся в приспособленных старых помещениях, медицинское обслуживание населения неудовлетворительное, нет в продаже товаров первой необходимости».

Ну, словом, если протокол этот продолжать – выйдет про всю Россию. Везде у нас ныне, как говорится, клин да яма.

И судорожно, как всегда, ищутся методы спасения от прорух давних и как бы вновь непонятным образом накопившихся и нежданно на наши буйны головы свалившихся. А они заложены в самой системе нашего хозяйствования: под них подведены научные основы, теоретические и практические выкладки сделаны, планы составлены, виды на всеобщее процветание нарисованы, высоких слов океан потрачено, хлопок изведен на полотно для лозунгов. Что же – так вот запросто взять и попуститься всем этим багажом? Покаяться в банкротстве? Попросить у народа прощения и начать вместе с ним все сначала?

Нет уж! Дудки! Совсем это не в духе коммунистической морали. Она всегда

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
дерзновенно наступательна!

Вот и отыскиваются привычно и ловко новые мифические виновники, прежде враги народа, ныне демократы, пресса и какие-то силы, на которые нам намекают, но не говорят про них, должно быть, испугать боятся, нервы и покой наш берегут радетели-отцы.

Енисейский район, на территории которого находится Сымский сельсовет, да и сам город Енисейск, – попали в очень крайнюю экономическую ситуацию. Возникший рядом, за рекою город Лесосибирск – прежнее название Маклаково корябало, видать, нежный слух преобразователей и покорителей Сибири народом данное историческое имя селения, они и подогнали его под привычное, стандартное. Есть уже в Красноярском крае кроме Лесосибирска Дивногорск, Сосновоборск, Снежногорск – экая удалая фантазия! Экий вкус! Экая эстетика! Так вот, Лесосибирск с железной дорогой, мощной лесопромышленностью не просто ушиб, но пришиб и без того впавший в запустение достославный город Енисейск, когда-то являвшийся центром Енисейской губернии.

Мало того, что в нем перестали существовать многие промышленные объекты, так обобрали город и в житейском смысле, взяли, например, и перевезли к соседям педагогический институт, который был тут не просто учебным заведением, но был временем учрежденной, к месту основанной научной организацией, духовным центром всего енисейского Севера, к которому, естественно, примыкали и исторический облик города с его, пусть и разрушенными, храмами, монастырями, местами и домами, связанными с жизнью декабристов, промышленников, купечеством. В Лесосибирске же институт стал просто еще одним безликим пролетарским уч. заведением.

За последние десять-пятнадцать лет, несмотря на одностороннее преобразовательное движение, благодаря которому расцвела сажей, дымами, заражена радиацией и всяческой химической отравой моя родная сторона от дуром ломающейся в глубь Сибири тяжелой промышленности, в городе Енисейске сделано много для восстановления его исторического облика, да и быта горожан. Выглядевший будто после давнего, еще в гражданскую войну происшедшего массивированного арталета, пусть скромно, пусть бедновато, но город прибран, обихожен, хотя сделать здесь предстоит еще очень и очень много. А где средства брать? Кто и чем платить будет? Коли «за красоту людей живущих, за красоту времени грядущих мы заплатили красотой», – как с пафосом сказал поэт, тоже, кстати, сибирский родом.

Вот ищут руководители района возможности пополнить бюджет города и района. Купчишки-меценаты, толстосумы-золотопромышленники, что радели о городе и чадах его населяющих, благодаря революционному усердию перевелись, у других городов, в том числе и у краевого центра, свои заботы. И какие! Многие заботы края уж в пору бедами бы назвать. Я это знаю как давний пусть и молчаливый, но зато внимательно слушающий депутат.

Районным властям вроде бы предоставлена самостоятельность, но очень напоминающая ту, когда ребенку, научившемуся ходить, родители говорят: «Иди!», а за поясок его – на всякий случай – держат; или, уча плавать, бросят в реку с наказом: «Выплывешь – хорошо, а не выплывешь...»

II

Изначально не наученные мыслить и хозяйствовать самостоятельно местные власти из руководителей и направителей часто превращаются в мелких дельцов, а то и просто жуликов. Сейчас в районах края, особенно в лесных, действуют сотни каких-то пришлых контор, кооперативов, заготовительных организаций. Особенно много их в лесу. Забравшись в тайгу заготавливать некондиционный лес, горельник, бурелом, они пластают кедрячи, забираются в лесопромышленные деляны, вырубают, точнее, истребляют деловую древесину под носом у лесопромышленных предприятий края, ибо приезжают с вином, с мешками денег; следом за добытчиками леса саранчой ползут по краю черненькие шустрые «жуки» с порнофильмами, с записями блажущих блатняков – новаторов от искусства, с ковриками на клеенке, с медными брошками, излаженными под золото, с наркотиками, напитками, цветочками, тайными увеселениями, ну, словом, все, как во времена Джека Лондона на Клондайке.

Мало нам киноакханалий на государственных экранах, так ныне запросто на дом доставляются увеселения, богатства и роскошная жизнь. Вот продуктов, правда,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
нету, очереди за ними всюду и в месте ссылки Владимира Ильича, в селе Шушенском тоже, а село, кстати, находится в благословенной Минусинской впадине, по солнечной активности и здоровому климату равной Кисловодской впадине, той самой, что слывет всесоюзной здравницей. Знал наш царь-батюшка, куда ссылать своих врагов, на ответную благодарность, видать, надеялся, вот его и отблагодарили!

В дореволюционные времена и в двадцатые годы, когда были развязаны руки сибирским крестьянам, здесь, в минусинской стороне, выращивали фрукты, арбузы. Хлеб, мясо, масло, молоко не знали куда девать, плавил лето вниз по Енисею на плотках, зимой везли за многие сотни верст обозами на красноярский базар. Ныне в Шушенском жители первыми в крае начали получать по 400 граммов хлеба на едока. Меньше, чем в войну. Допреобразовывались! Метнули луч света из дореволюционной ссылки мятежного вождя, и озарил он нам все наши достижения и завоевания.

Я не знаю, есть ли в Енисейске и его окрестностях «лесожучки» с мешками денег, с бочками вина, но нефтегазоразведчики с обещаниями и посулами пожаловали. Мне довелось ходить по следам «передовых отрядов» разведчиков недр в Эвенкии. Не просто удручение, оторопь берет при виде того погрома, который они оставили за собой. Видел и знаю об этом не я один. Зверопромысловики, работники енисейских контор и предприятий, жители пусть и отдаленных районов, ныне тоже радио слушают, где и телевизоры смотрят, газеты читают, сообщаются между собой. В охотничьей избушке, где мы собрались прошлой осенью, такие ли политические дебаты разгорались, что уж и базарному российскому съезду депутатов в зависть бы.

Одним словом, не веря «в силу народную», да еще такую малую, как на Сыме, забыв о том или сделав вид, будто не знают, что по постановлению Совмина за номером 126 и Сымский сельсовет считается национальным, значит, чтобы чего-нибудь тут, на его территории взять, изъять или сделать – надо просить разрешение, тем более разрешение требуется, когда речь идет о жизненно необходимых землях и угодьях – здесь, по Сыму и вдоль Сыма основная база Ярцевского промхоза и Лесосибирского рыбозавода по заготовке ягод, грибов, мяса сохатых и оленей, рыбы, пушнины. В случае положительных результатов с разведкой и строительства нефтепровода из фондов края изъято будет 6700(!) квадратных километров тайги. Да ведь это пока всего лишь предварительные подсчеты, реальные будут выглядеть форменным разбоем, как это получилось с великими гидростанциями на Енисее, сулившими сплошные выгоды и благоденствие сибирякам, на деле же обернувшимися климатическим бедствием, разорением края, гибелью природы и пашен, столь ныне нам необходимых для прокорма.

Вот и забеспокоились жители не только Енисейского, но и других прилегающих районов. Население крупных приенисейских сел – Ярцево, Кривляк, Майское, Ворогово – выступило с решительным протестом против работы нефтегеологоразведчиков, требуют обсчитать, во что обойдется и обернется разведка, дать экономически обоснованные доводы и социальные гарантии защиты местного населения. В Сымском сельсовете состоялась бурная сессия, не первая и не последняя, на которой присутствовали районные и краевые власти, а также начальник Илимпейской геофизической экспедиции Лапшин и главный инженер Дашкевич, в порядочности которых, как специалистов, я совершенно не сомневаюсь, но в гражданской их опрятности есть все основания сомневаться, и не у меня одного. Правда, выступали они на Сымской сессии очень человечно, я бы сказал даже честно: «У нас, у геологов, пожалуй, есть что-то общее с вами – охотниками: ищем то, чего никто не потерял», говорил на сессии начальник экспедиции Лапшин, и далее, зная, что собрание ведаёт об уже многомиллионных затратах, убитых на предварительные разработки, прямо заявил, что каждая буровая обойдется этой земле в 4–5 километров убыли, а всего надо развернуть двадцать скважин, что весь процесс продлится года два, но что-де так варварски вести буровые работы, как их вели в Тюменской и Томской областях, нельзя. «Мы обещаем другой подход, обеспечим строгий инженерный контроль» и что «вы всегда можете проверить и остановить бурение», но нефть и нефтепровод краю необходимы. Однако пока все мы «делим шкуру не убитого медведя – еще неизвестно, найдем мы тут что или не найдем».

В Байкитском районе, как и в других районах Эвенкии, эта экспедиция ничего пока не нашла, землю же северную разгромила на многих обширных площадях. Есть и еще один тяжкий, неискупимый грех за бравыми разведчиками – в крае они произвели более десятка атомных взрывов в глубоких разведочных скважинах и скрыли это от народа, населяющего Сибирь. Какие последствия будут от этой гибельной,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
журналистской, преступной деятельности еще неизвестно.

Имели ли отношение к этим, тайно совершенным преступным работам начальник Илимпейской экспедиции товарищ Лапшин и главный инженер той же экспедиции, кандидат геолого-минералогических наук тов. Дашкевич, а также руководители Красногорьевской нефтегазоразведочной экспедиции, которой и поручены работы на Сыме? Если да, то их и на пушечный выстрел за обман и бесчестие нельзя к тайге подпускать. Стыдно им должно быть глядеть людям в глаза и лезть на трибуны с благобно-успокоительными заверениями, тем более что в то время, когда они их делали, на речку Иштык продолжали лететь и лететь вертолеты с оборудованием для буровой...

В большой статье, напечатанной в газете «Енисейская правда», которую хочется похвалить за ее принципиальную, твердую и объективную позицию в этом не вдруг возникшем конфликте, товарищ Дашкевич, как и его начальник Лапшин, тоже много говорят о пагубной деятельности тюменских и томских нефтяников, никто, дескать, и не собирается повторять их варварских методов, все, дескать, тут, на Сыме, будет «под жестким контролем, но работы вести позарез необходимо, без нефти, без газа нам не жить, к лучине и бечеве возврата нет», есть, мол, и в Сибири приятные исключения, например, строительство Академгородка в Новосибирске.

Не знаю, как товарищ Дашкевич, но я ведаю, как далось строительство городка, где были сохранены деревья, роши, флора и фауна, академику Лаврентьеву. Надев кирзовые сапоги, забросив все свои науки и семью, он, уже пожилой человек, ходил по строительным площадкам и начальников участков, прорабов, мастеров, привыкших работать удало и размашисто, гнал в бригадиры, каменщики, землекопы за погубленное, без надобности сваленное дерево. Какого напряжения, какой силы и упорства потребовала эта вынужденная деятельность от достославного академика, замечательного человека. Может, он и не дожил свою жизнь из-за нее, не доработал в науке всего им намеченного...

Готовы ли вы, товарищи Лапшин и Дашкевич, к лаврентьевскому самопожертвованию, к неусыпной хозяйственной деятельности на новоразведочных площадках? Я сомневаюсь. Много у меня и у всех жителей моего родного края оснований для подобного сомнения.

Вот в той же статье сами вы, товарищ Дашкевич, прямо говорите, что «за 35 лет работы я много насмотрелся, в том числе, как дремучая енисейская и ангарская тайга постепенно превращаются в пустыню», что принцип «сколько вырубил, столько посади», торжествующий в цивилизованных странах, у нас пока невыполним, что кадры нефтеразведчиков, да и в экспедициях состоят из временщиков, проживающих в западных и южных районах, для которых главное: «урвать, сорвать и слить. Им наплевать на все остальное... Построили поселок геофизиков, вырубил все до последнего прутика, потом построили дома, жильцы поселка посадили вновь деревья и кустарники и тут же, кстати, саженцы эти съел скот».

Да-а, прав геолог Дашкевич и все руководители края и районов – правы если и дальше Сибирь будет осваиваться вахтовым методом, несмотря на всю ее громадность и богатства, которые кой-кому все еще кажутся неисчерпаемыми и несметными, ей скорый придет конец.

Месяца за два до поездки на Сым довелось мне побывать на реке Тынэп это по сибирским масштабам совсем близко от Сыма – там нефтегазогеологоразведчики «оконтуривали» месторождение. Чего и сколько они нашли, пока не говорят, но, мол, «тут где ни копни – чего-нибудь да найдешь». Ребята, заполнившие вертолет, да и несколько бабенок с ними показались мне знакомыми: прически а-ля петух, бороды пышны, руки и лица, хотя разъеденные гнусом, загорелы, свежи, рукава засучены, и по бицепсам видно, что они не только видели «Рембо», но и кое-чему научились у этого супермена, борющегося за справедливость. Даже транзисторы, гитары и рюкзаки я уже где-то видел, но тут же понял – этих именно ребят с Тынэпа я нигде не встречал, просто в других местах, в других вертолетах, в поездах, на пристанях и по трактам кучно движутся точно такие же вот существа с равнодушно-напускными лицами, дремотно-утомленными глазами, с как бы уставшими от распирающей грудь всесокрушающей силы, которую и применить не на кого, крутом тля, мелкотня и сплошные ничтожества. Тренированные, хваткие руки снисходительно перебирают струны, из бороды уныло вещается что-то своедельное, про тайгу, про километры, про ветры. Есть среди этих временщиков-суперменов вечные кочевники, возвращенные совиндустрией, бездомные пропойцы, бродяги, бичи – их, малосильных,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
вялых, заискивающе-улыбчивых, держат на подхвате, едва достаивают кивками головы современные «рыцари рубля» с золотыми массивными перстнями на пальцах, с золотыми крестами на груди, с неприятием во взоре, этого, им всем подвластного общества, которое в пору бы уж сокрушить, да шевелиться неохота и платят пока хорошо. Но в бороде-то прикус хищника едва скрыт, тигриная усмешка в волосах блуждает. Они накоротке общаются с пилотами, со всяким им нужным начальством, со снаряжающими или встречающими вертолет технарядами, кучно держатся, гонят от себя бродяжек, говорят мало, пьют много, но не пьянеют.

Вечером я улетал из поселка Бор с теми ребятами, что с Тынэпа. Все они были модно, в дорогое одеты, прибранны, подстрижены, умыты, наодеколонены. В самолете расселись артельно, вели себя пристойно, хотя все так же отчужденно. Перед отлетом пили они из горла спирт, разведенный каким-то местным мутным напитком, и лишь один из них слабаком оказался, запросился с того напитка до ветру, но туалета в самолете нет, связчики так гаркнули на соартельщика, что до самых Карпат или до приволжского нагорья ему более в туалет не захочется.

Новый тип рабочего народился, а мы и не заметили этого, проорали, провиतीयствовали, снова в дебатах на съездах, на цеховых собраниях да в кухонных баталиях утопли. А жизнь-то идет, бежит и рождает новые отношения в обществе, психологию, новые типы, сдвиги в сознании человека, меняет отношения в труде. Услышать бы нам всем ветрами истории несомое: «Узок их круг, страшно далеки от народа...» не про велеречивую ли это самоё себя заморочившую тонкую прослойку народа, называемую советской интеллигенцией, а может, и про товарищей коммунистов, так ретиво правивших нашей жизнью?

Очень плавно, ублаженно-грустно думается в осенней тайге, особенно под звук однотонно работающего мотора. Река Сым разворачивает и разворачивает поворот за поворотом, плес за плесом, пережат за пережатом, словно сказочную книгу с яркими иллюстрациями листает. И не хватает слов и всего человеческого восторга выразить восхищение гениальной работой художницы-природы. Дюны, словно бы из просеянного сыпкого песка, мысы, выдавшиеся в реку, все забористей, все выше, все длинней. Кажется, вот-вот соединятся песчаные косы с противоположным подмытым берегом, с яра которого стеной рухнули, но пытаются приподняться, выжить и в воде расти прибрежные деревья, а соединившись, затянут пески в петлю живую шею реки, удушат ее, остановят. Соседняя, обрубленная река Кае уже не течет летами, уже задушена, и многое в этой местности уже не живет, лишь доживает.

Благо этих мест – обилие ягод брусники, клюквы, смородины, голубики, черники, белых грибов, кедрового ореха – обернулось бедствием для Сыма. Летами и осенями бродяги всех морей и океанов, да и местные начальники, владеющие водной и воздушной техникой, валом валят сюда – урвать на ягодах, на грибах, на орехе шальную деньгу. Сплошь уже не берут, а гребут бруснику совками или какими-то самодельными комбайнами. Бьют орех всеми доступными средствами – с помощью связистских когтей, колотухой, шестом, где и бульдозером, лебедкой, электропилой кедр валят, дошли уж технически образованные браконьеры и до электровибраторов. Килограмм кедрового ореха нынче на базаре двенадцать рублей – за один сезон можно на машину «набить», золотом жену обвесить. Вот и бьют кто чем, кто как, прибрежные кедрачи сплошь израненные, большие, брусничные поляны повреждены, растоптаны, где и вовсе загублены. Ведь кустик брусники здесь в песке, словно в молоке купается, чуть потяни, дерни – он с корешком выдергивается. Рвач, сезонник, шарапник орудует в стране, ему главное – деньги, деньги, потом хоть трава не расти. В Иркутской области, слышал я, подчистую, с корнем выдрана полезительная, целебная ягода – толокнянка, за которую назначена хорошая цена. Есть толокнянка и на Сыме, но, слава Богу, мало, и заготовку ее здесь не ведут. Еще здесь редкостная ягода есть с нежным названием и ароматом княженика. В Финляндии ее в компот на стакан по две ягодки кладут, ликер очень дорогой из княженички делают. Вообще в Финляндии предпочитают есть свое: хлеб, мясо, рыбу, икру, ягоды. Ах, какие они компоты сотворяют из тех ягод, что мы топчем в лесу или квасим собранное. «Мы не так богаты, как вы, чтобы все покупать», – шутят соседи наши.

Много чего есть в сибирской тайге, в том числе и на Белом Сыме. Сюда бы хозяина, радетеля, работника. Ярцевский промхоз – потребитель, но не охранитель, возможности его весьма и весьма ограничены, в особенности по части снабжения охотников-промысловиков. Но об этом отдельный разговор.

Так совпало, что заготовками в Союзе ныне правит бывший секретарь Красноярского

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
крайкома Павел Стефанович Федирко, на протяжении пятнадцати лет царивший в крае, ударно «покорявший» Сибирь. И он, и до него долго здесь командовавший товарищ Долгих, ноне находящийся на уютной цековской пенсии, да и до них, и после них «предстоящие», много бед сибирской стороне причинили, недобрую память по себе здесь оставили. И вот бы им, не только во искупление грехов, но из любви к «осчастливленному» ими краю, и помочь бы таежникам, поспособствовать тому, чтобы богатства, здесь добываемые, попадали на прилавок и к замороженным, авитаминозным советским детям на стол. Тем более что у товарища Федирко здесь не только «свои предприятия» расположены, но и родные люди проживают, да и не только по родственным соображениям ему бы помочь, но и в благодарность за те умильные слезы и рукоплескания, которыми местные партаппаратчики проводили его в столицу на высокую должность. Невольно вспомнились мне на той прощальной краевой сессии, где рукоплескали товарищи товарищу, ехидные слова Достоевского: «А вы наследственны от дядюшки ура кричать...» Увы, относятся они ко всем нам, русским людям, а не только к красноярской руководящей братии, впавшей вдруг в сентиментальные чувства.

Когда я писал эти заметки, в Сымской фактории собралась еще одна сессия, вынесшая вопрос об организации на Сыме заповедного места или национального парка – и снова горячий разговор о хозяйски-бережном, заботливо-родственном отношении к дарам природы. Дары! Слово-то какое древнее и чудное. Только дары те уже не выдерживают нашего присутствия, а тут еще закаленные в боях со своим народом большевики грозятся «выйти из окопов», – порешат же, порушат все окончательно, опыт разорения страны у них богатый, но только остается надежда, что не выйдут и никуда не пойдут, ибо привыкли к тому, чтоб ура кричать, вперед звать, а в атаку чтобы шли, умирали и побеждали за них мы, простые советские люди. Нам надо самим выходить из окопов равнодушия, с умом и пользой хозяйствовать, беречь все, что дарит нам природа, – для людей и страны, в которой становится совсем нечего кушать, тут и коммунисты, и новоявленные революционеры сгодятся порядок наводить, детей наших от лиха и глада охранить – всем работы и заботы хватит.

А пока в сымской тайге нет ни хозяина, ни защитника. В последние годы здесь идет не только алчный налет на дармовую добычу, но и творится браконьерский произвол. Оттесненные промышленным адом, нефтяным духом из тюменских и томских земель, бредут и бредут в тихую, пока еще сравнительно мирную сымскую сторону северные олени – много еще здесь съедобного, керосином не облитого, гусеницами не размиchanного белого мха, грибов и всякой нужной животному пищи, не очень густо пока стреляют, нечасто на вертолетах чиновники-хищники налетают. Но вон уже полезли, гремят железом буровики, гарью хакают машины, матерщиной оглашают чистые боры трудяги-временщики, из брюхатого вертолета весело вываливаются разведчики недр. Там, где они проходят, ничего не растет, не живет, не плавает. А уж здесь, в этой сыпкой, нежной почве, среди чуткой и ранимой растительности, на белых этих берегах, они развернутся, они дадут!..

Вот почему, пока нервничают власти, сымчане, не веря словам и заверениям разведчиков недр, а также и в спасительные миллиардные прибыли от продажи нефти, чистят карабины, снаряжают патроны, намереваясь встать заслоном на речке Иштык, как они уже вставали здесь перед лесозаготовителями, чтобы преградить дорогу нагло наступающему прогрессу.

Прямо грузинско-осетинский конфликт да и только! Махоньякая искорка – в необъятной глубине сибирских руд, но из искры, как свидетельствует недавняя горькая история, может разгореться пламя.

Вот почему я, старый солдат, много крови и смертей повидавший на своем уже некоротком веку, готов схватиться за пока еще холодные стволы карабинов, отвести руки от пусковых кнопок буровых, придержать замахнувшиеся на Сибирь топоры, погасить факелы и скважины огне- и химическо-радиационную заразу изрыгающие, готов упасть на колени средь родной моей Сибири и криком кричать на всю страну: «Опамятуйтесь, люди добрые! У всех у нас есть дети, им дальше надо жить! Прежде чем что-то резать, взрывать, бурить, валить, дырывать, обдирать, изрыгать – не семь, а семьдесят раз отмерьте! Неужели всех нас ничему не научила наша прискорбная, страшная история? Неужели и в самом деле мы жили, живем и работаем только на износ, только на извод, на близкую погибель?!»

Край жизни

(газета «Комсомольская правда»)

– Невероятно тяжело далась мне эта книга – 550 страниц смерти, крови, края жизни. Это ад крошечный. Я был там в восемнадцать-девятнадцать лет. Молодой организм, короткая память, беспечность и многое другое, что свойственно, слава Богу, молодости, помогали не сойти с ума. Поел, выспался – тебе уже хорошо. Но сейчас, в моем возрасте, пропускать снова все это через память, через сердце невероятно тяжело. И мне кажется, я так и не дотянул до такой трагедии, чтоб сердце раскалывалось. Хотя жена моя – Марья Семеновна, которая семь раз перепечатывала рукопись, некоторые страницы просто отказывалась читать. Она тоже была на войне...

– Полвека минуло с той поры. А вы снова и снова пишете о войне. Это дань молодости, погибшим друзьям, выбитому под корень поколению?

– Сейчас, когда большая война в виде так называемых локальных конфликтов тлеет по границам России, писать о ней просто необходимо. Полно появилось народа, который снова жаждет кровушки. И одна из задач моих хоть маленько напомнить людям о войне и поугавать. Впрочем, и пугать не надо, надо только писать правду о том, что было, – и все, этого достаточно для людей, которые окончательно не потеряли рассудка.

О той войне, по существу, правды-то еще и не писали. Ей посвящены эшелоны книг, но то, что действительно достойно считаться правдой, уместится на половине моего письменного стола. Да и время должно было пройти, чтобы всю эту правду осмыслить и проявить.

Должен сказать, что немцы больше боятся войны, хотя меньше пострадали, чем мы. И в своей настойчивости в борьбе с неонацизмом они более принципиальны. Мы уже на все рукой махнули. Неонацист, коммунист, демократ – все едино. Нельзя так. Большевики вкупе с Жириновскими запросто устроят нам последнюю в нашей истории войну. Такая свалка начнется. Поэтому о войне обязательно надо писать, чтобы показать: вот она какая, вот чего вы хотите.

– Вторая книга вашей трилогии называется «Плацдарм». Действие, по-видимому, происходит на Днестре, который вам самому пришлось форсировать?

– В отличие от первой части романа, в которой я был прочно привязан к конкретному месту действия, я называл его – были для этого причины, во второй – больше обобщенного материала. Я даже не стал называть имени реки, на которой развивается действие романа. Просто – Великая река. Не какой-то конкретный плацдарм, а просто плацдарм, как место, где люди убивают людей, клочок Земли. И те восемь дней из жизни героев второй части романа вместили в себя всю войну, весь мой фронтный опыт, все, что происходило со мной на той войне.

Я форсировал Днестр в составе 92-й артиллерийской бригады и был на Букринском плацдарме. Была такая деревня Великий Букрин. Тот плацдарм был самым маленьким, самым трагическим. Там, по существу, все погибли. А потом, уже после войны, это место еще и затопили. Кости моих однополчан лежат сейчас на дне киевского водохранилища.

После Букринского был у меня еще один плацдарм на Днестре. Не помню его названия. Не успел запомнить – ранили.

– Год назад, когда вышла в свет первая книга «Прокляты и убиты», нашлось немало людей, заявивших, что Астафьев вновь сгущает краски. Судя по всему, после публикации в «Новом мире» «Плацдарма» эти обвинения обрушатся на вас с новой силой.

– Ну как можно, рассказывая о войне, краски сгустить. Грязь с кровью смешанная, куда еще гуще-то...

Мы должны знать правду о солдате, все годы войны существовавшем за гранью

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
человеческого. Вот говорят: живет как скотина. Нет, скотина живет все-таки в лучших условиях. Она не спит в окопе на земле, она спит на подстилке. Что такое, например, простоять в обороне зимой полтора месяца? Вы посмотрите, от войны ведь почти не осталось фольклора. Как еще смог Александр Трифонович Твардовский написать хорошую книгу про бойца? Про бодрого...

А кто сегодня берется вспоминать «правду» о войне? С передовой мало кто живым вернулся. А те, что вернулись, поумирали от ран да и болезней. Вышли сейчас вперед комиссары, первые, вторые, седьмые отделы, смершевцы, трибунальщики... Вот они выжили. Да и что с ними сделается. Они как ушли на фронт дубарями, так дубарями и вернулись. А ведь уходили на фронт и нежные ребята, начитавшиеся романов. А может, и ничего не начитавшиеся, но нежные.

Никто из нас – фронтовиков еще об этом не написал. Есть мера таланта, есть мера смелости – все понятно.

– В заключительной части романа вы собирались рассказать о послевоенной жизни своих героев. Будет ли она светлее двух предыдущих книг?

– Вряд ли. Ведь в нашей жизни было все совсем не так, как в «Кавалере Золотой Звезды». Это был еще более затяжной и изнурительный бой, в котором погибло еще больше людей, чем на фронте. И погибло мучительно, доверяясь тому, что после победы они, несомненно, будут жить лучше. А умирали фронтовики не только от ран. Кто-то спился, кто-то от такой жизни удавился... А сколько матерей погибло только потому, что после войны были запрещены аборт. И то, что у нас и сегодня идет сокращение русского населения, – прямое последствие той войны. Люди жили настолько бедно, что даже двое-трое детей были для большинства семей непозволительной роскошью. Население Союза росло исключительно за счет Средней Азии и Кавказа.

В 50-х годах я работал в районной газетке на Урале и повидал, как жили люди после войны. Колхозники, совершенно ограбленные и униженные, были доведены до такой нищеты, что и вообразить трудно. Сейчас хоть одежкой какой-то прикрыта вся наша нищета, а тогда – телогрейка прожженная, залатанные штаны, невероятные, из какого-то брезента сшитые юбки. И налоги, налоги, страшные налоги, подписки на облигации. Войдешь в избу – не то что тряпочки какой, занавески на окне не увидишь – один стол скобленный.

Помню, приехал как-то на собрание одной колхозной бригады писать материал для газеты. Убогая избенка. На столе – кормовая соль и печеная картошка. Собрание ведет бригадир-фронтовик, нет левой руки, нет ноги: «Надо, бабы, надо». Они в ответ: «Ну что ж, Степан Петрович, надо так надо». Они этой картошки поедят, одна за другой выскакивают блевать. Ни одного мужика в бригаде. Все повыбиты! Как одиноких, беззащитных баб не обидеть? Как их не обобрать? И всевозможные уполномоченные, насланные из райкомов и райисполкомов, тут как тут.

А что у них можно было забрать? В чем работают – в том и спят. Детей перехоронили. На новых – мужиков нет. Скотина в избе – редкость. А если у кого завелась – даят: сдай молоко, сдай масло, яйца, шерсть.

Мы с Марьей одного ребенка схоронили маленького, второго – взрослого, не без влияния того, что когда она была маленькой, нечем было кормить ее, у нее сердце было больное, и в 39 лет она свою земную схватку закончила. И мы не одни такие. Народ надсажен был. И расправу учинять с этим доверчивым народом было легко. И ее начали.

Почему Сталин так сурово отнесся к народу, который спас ему шкуру? Ему и его товарищам спас шкуру именно народ, а никакие не полководческие гении. Не было никаких гениев. Все это глупости. Залили кровью, завалили немцев трупами. Победил народ, которому вытянули последние жилы. И вот этот обманутый народишко попал в Польшу, Германию, Австрию и собственными глазами увидел: все, что ему говорили комиссары, все, что писали советские газеты о капитализме, – неправда. И народ этот стал опасен.

После каждой большой войны в истории человечества обязательно были народные волнения. Сталин прекрасно понимал, что и у нас они обязательно начались бы. Вернулись бы фронтовики в нищие колхозы, где остались одни бабы надорванные да запущенное хозяйство. Сначала бы поворчали, а потом бы за колья взялись...

Никто так не боялся своего народа и не боится до сих пор, как наше правительство. Потому что с первого дня своего существования, с 1917 года, вступила советская власть с этим народом в конфликт. Вся ее история – это сплошные расправы, голод, раскулачивание, коллективизация. Все время в конфликте со своим народом. За слово, за малейший проступок, по доносу людей сажали в лагерь. После войны стараниями Иосифа Виссарионовича и его компании погибло больше 15 миллионов человек. По большей части мужиков, чудом выживших на той войне. Дело дошло до того, что в России просто некому было воспроизводить население. У нас были деревни, особенно на северо-западе, где по 15 лет не видели ребенка в глаза. А женщины постепенно старились, перегорали, умирали.

У вернувшихся с фронта была надежда. И было еще какое-то чисто физиологическое ощущение того, что ты остался жив. Мы смертей видели очень много, привыкли к ним и огромным счастьем считали то, что удалось выжить в этом кошмаре. И поэтому на первых порах какие-то трудности, голод и хроническая нищета переносились как будто легко.

У нас сейчас понуть-поплакаться все горазды, но такой трудной жизни, как в 1946–1947 годах, просто и не вообразить. Тогда все плохо жили. Кроме, конечно, партийных работников и начальников. А через повальное воровство, через приспособленчество, обман постепенно исчезал честный рабочий класс. Крестьянство же вообще было сразу обречено воровать, с того самого времени, как образовались колхозы. Ему иначе было просто не выжить. Кто воровал тот выживал, кто не воровал, тот помирал.

– Виктор Петрович, когда вы будете писать обо всем этом?

– Не знаю. Видимо, не скоро возьмусь за третью книгу. Нужен очень серьезный отдых, хотя у нее уже есть набросок. У второй не было.

– После завершения большого, серьезного труда вы давали себе отдых работой над чем-то более легким. Так, после «Царь-рыбы» появилась «Ода русскому огороду», после «Печального детектива» – «Затеси» и рассказы о природе...

– Поближе к осени думаю взяться за веселую повесть для ребят о смешной собаке. А после нее, даст Бог, вернусь к роману о войне.

– Вы считаете, что именно он будет самой главной вашей книгой, самым главным делом вашей жизни?

– Делом – да, наверное. Я к этому роману долго готовился, и хорошо, что не взялся за эту работу раньше. Мне было бы просто не поднять такую книгу. Впрочем, одно для меня важное дело я уже сделал – написал «Последний поклон», в котором рассказал о всех своих родственниках, о сибирских нравах, жизни и трагедии. Эта книга впервые в полном объеме вышла на днях в красноярском издательстве «Офсет».

– Я открыл для себя писателя Астафьева студентом-первокурсником, когда мне в руки попал томик «Царь-рыбы». Но во многом благодаря именно «Царь-рыбе» я уехал работать в Красноярск, чтобы увидеть Енисей, познакомиться с Акимами...

– Как-то рыбачу я на Енисее, пристаёт неподалеку к берегу комарами изъеденный, лохматый какой-то человек, пьющий, видно, уже не один день, и интересуется: правда ли я, тот самый писатель, что сочинил «Царь-рыбу»? В свое время книжка эта прошла по Енисею: кто читал, кто слышал, но все отгадывали в книжке себя и своих знакомых: это – Митька, это – Васька...

Была и у этого мужика моя книжка, какая-то вся побитая. Видно, что и в воде она не раз побывала, и водярой ее, чувствуете, обливали.

– Правда, ты ее написал?

– Ну, правда. И что?

– Вот ведь книга, памаш, какая... Она и у меня, браконьера, в лодке лежит, и у рыбадызора...

«Царь-рыба» появилась в определенный период какой-то всеобщей тоски по покинутой

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
деревне, по естеству природному, которое вылилось в массовое строительство дачек вокруг городов. Я получил множество писем от читателей, по преимуществу городских, по поводу «Царь-рыбы», «Последнего поклона» с тем ощущением, что нас, родившихся и живущих в городе, жизнь обобрала. Люди думали, что бросят они плуг, грязную землю, съедутся в города и станут счастливыми братьями. А поселившись в стандартные бетонные многоэтажки, стали разобщены еще больше.

– Виктор Петрович, а какую из своих книг вы любите больше всего?

– «Пастуха и пастушку».

– Почему?

– Наверное потому, что лучше других написана, чище. Она нетолстая. Не люблю своих толстых книг, но для того, чтобы довести повесть до такого объема, мне пришлось переписывать ее не единожды. Последний раз я это сделал лет пять назад. Что еще? Женщина там очень симпатичная, загадочная. Это все, конечно, частности. А главного не объяснить.

– Но есть ли у вас уверенность, что слова ваши доходят до людей, предпочитающих в последнее время любой самой хорошей книге «Санта-Барбару» и «Марию»?

– Я над этим очень много думал. Мне кажется, что мои книги – это какая-то небольшая частица общечеловеческой культуры. Ведь если бы не книги, музыка, живопись – нас бы на земле уже не было. В этом я сейчас совершенно убежден, Человечество спас только его гений. Причем люди этому гению все время сопротивляются. Сколько гениев выбили еще в молодости, а сколько их сами себя сгубили. Думаю, с этой точки зрения накопление культуры, существование самой культуры, влияние ее на воспитание человека неопределимо. Культура и вера в Бога – только на этом продержалось человечество последнее тысячелетие. Не будь этого, человек давно бы уже ползал на карачках, снова вернулся бы в пещеры, тем более что очень многим туда хочется.

В первый раз я это по-настоящему почувствовал в Мадриде, в «Прадо». Знал, конечно, об этом и раньше, но как-то смутно, неопределенно. «Прадо» это великая галерея. Она отличается от нашего «Эрмитажа» и других супермузеев своей компактностью и тем, что там нет проходных вещей, только настоящее искусство. И я понял, что вот это все, что я увидел, повлияло на человека больше любого политика, сильнее, чем любая проповедь.

Второй раз я это остро почувствовал, когда был у Гроба Господня в Иерусалиме. Здесь, как и в «Прадо», человек погружается в какую-то сферу благоговения. Есть такое прекрасное слово, которое мы забыли. Оно чаще употребляется в отношении церкви, но искусство, видимо, тоже дело святое. Соприкасаясь с церковью и настоящим искусством, человек становится способен сострадать и чувствовать прекрасное. Он начинает чуть-чуть лучше относиться к другим и к себе. Человек-то ведь задуман Богом хорошо. И земля ему хорошая подарена. Но бес, сатана мутят его постоянно. Я наблюдал, как входят люди в храм Гроба Господня – скучающие экскурсанты. А когда выходят – у них лица совершенно иные. На них какая-то просветленность. Оказывается, бессознательно человек – коммунист он или анархист, не имеет значения готовится к этому моменту всю жизнь. Если есть у него сердце и хоть капля теплой крови. И поскольку он живой не встречается с Богом, он встречается с прекрасным.

Мы в безбожной стране выросли, но и мы, соприкасаясь со словом, молитвой, музыкой, природой, которую нам Господь подарил, тоже все время, каждый день, каждым шагом готовимся к встрече с Господом. Уж как Его кто представляет. Вероятно, где-то есть точки соприкосновения с Ним, и одна из них в Иерусалиме. И я думаю, если каждому бы человеку дали возможность побывать у Гроба Господня, да хотя бы чаще показывали его по телевизору, то это было бы благое дело. Но нам не до этого, заседания парламента надо показывать.

– Виктор Петрович, вы всю свою жизнь прожили в провинции: в Пермской области, в Вологде, в Красноярске. Отчего не перебрались жить в Москву? Неужто не приглашали?

– Приглашали, конечно. В первый раз, когда я еще жил на Урале, учился на Высших литературных курсах. Конечно, в столице больше профессионального общения, хотя

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
сейчас мне это общение не так остро нужно, устал от толпы, влечет одиночество. В столице доступнее культура, хотя диких людей там ничуть не меньше, чем в Красноярске или Новосибирске.

У меня есть свое понимание комфорта. Мне надо обязательно работать дома или в деревне, в своем углу за столом. Я очень долго настраиваюсь, но работаю лихорадочно быстро. Как они в Москве пишут? Я не представляю. Вырывают себе какой-то кусок времени? Ведь все они где-то служат.

Очень важны для меня первозданность впечатлений, первозданность языка. Москва – это не мое. Исходное сырье для писателя все-таки язык, я должен жить среди него. Можно нахвататься чего-то, у нас таких умельцев-сочинителей предостаточно. Провинция дает художнику ощущение естественности. И сам он естественней становится, и жизнь его естественнее течет.

– Виктор Петрович, вы родились в красный день календаря – 1 Мая. Это обстоятельство как-то отразилось на том, как вы свой день рождения отмечаете?

– Мне в праздники всегда хотелось плакать. В раннем возрасте, когда у нас в избе собирались гости выпить, песни попеть, я обычно забирался на полати и плакал. Бабушка меня жалела, успокаивала: «Порченный ты у нас, Витька...» Когда я увидел первую елку в 1939 году в Игарке, тогда их вновь разрешили ставить, она мне показалась царственно прекрасной. Я разрыдался, убежал куда-то, спрятался.

Я очень тяжело переношу всякое праздничное возбуждение. Поэтому не бывал никогда ни на каких демонстрациях, митингах. Помню, когда приезжал на съезды писателей и начиналось это многолюдное братание, я чувствовал себя крайне неуютно, нервно, меня прошибало до пота.

Нынешний мой день рождения мы будем отмечать в семейном кругу. Сын приедет из Вологды с семьей, наша деревенская родня. Посидим своим крутом, попоем, если сможем, что-то выпьем. А официальное празднование моего юбилея начнется на следующий день. Я был бы рад, если бы городские власти большого праздника не затевали, но люди меня убедили, и, наверное, они правы, что это нужно не только мне. Может быть, в моем лице будет в какой-то мере вспомнена и почтена русская литература, которая в невероятно трудных условиях все-таки продолжается.

– Как вы ощущаете себя на пороге своего 70-летнего юбилея?

– В стране под названием Россия, где на одного литератора-долгожителя приходится сотня убитых на войне и на дуэлях, сгноенных в казематах, каторгах и тюрьмах, сгоревших от загула и чахотки, наложивших на себя руки, домаявших век в сумасшедшем доме или иссохших от тоски по Родине в чужеземье задолго до Христова возраста, дожить до 70 лет – не просто чудо и удача, а какое-то свыше выданное соизволение и награда. Я полагаю, что мне Господом зачтен недожитый срок земной моей мамы – Лидии Ильиничны Потылицыной. Самой невинной и трагической жертвы современного разгула жестокости и немилосердия. Она погибла в 29 лет. Но, может быть, и сам я трудом своим, начатым на усть-манской пашне в 9 лет и не оставленным до сих пор, заслужил какое-то снисхождение судьбы? Всегда старался за кусок хлеба, данный мне добрыми людьми, ответить тем же, и еще, наверное, потому, что, осознавая многие грехи свои, в том числе и кровавые, пусть и не всегда по моей вине творимые, на войне, скажем, не хотел и не пытался навязать их другим людям, но мучался ими и искупал их сам. Опять же трудом и тихой молитвой.

Постараюсь, и, надеюсь, Бог мне в этом поможет, дожить оставшиеся годы таким, каким Он меня сотворил и отправил в жизнь. То есть всегда оставаться самим собой и добром, а не злом продолжаться в моих внуках, книгах и в природе.

Вивальди за пятак

Я расскажу вам сказку самую-самую архисовременную.

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru

В некотором царстве, но в нашем государстве было много-много книжных магазинов, и в них было много-много книг, и в иные из магазинов, точнее, во многие-многие никто не заходил и ничего не покупал, разве что утащат когда из завалов трудящиеся или учащиеся книгу и тем внесут оживление в монотонную жизнь книготорговой сети.

И ведь не сто, не двести лет назад было, а совсем-совсем недавно. Помню, после исторического читинского семинара ездили мы писательской бригадой по глухим районам Читинской области и книгоман Илья Фоняков затащил нас в Петровском заводе в книжный магазин, заваленный и заставленный от пола до потолка книгами, так продавцы сперва напугались, думая, что мы – комиссия какая высокая, а узнав, что не комиссия, обрадовались.

Я купил в том магазине редкую книгу – «Записки охотника Восточной Сибири» Александра Черкасова. Фоняков тоже чего-то купил, чуть потоньше и поукладистой – чтобы легче таскать, а остальные члены бригады ограничились листанием и просмотром книг.

Но в Петровском заводе магазин-то хоть походил на магазин, чаще нам встречались и вовсе всеми забытые и заброшенные избы где-нибудь в глухом закутке райцентра.

Совсем в другом конце страны единожды оказались мы дружной бригадой, мы – это покойный Николай Рубцов, вологодский поэт Виктор Каратаев и я, в недалеком от областной столицы, не самом глухом райцентре – и давай искать книжный магазин. Нашли. С трудом. Смотрим, женщина на крыльце пригорюнившись сидит. «Чего, – спрашиваем, – сидишь-то?» – «А меня книжки сюда вытеснили. Негде уж от них ступить. Которые дак плавают. Затопило мою лавку».

Кое-как пробрались мы меж книг и по книгам в «лавку». Боже ты мой, какое кладбище книг нам явилось! Которые книги уж заплесневели и сопрели, которые плавали пачками, которые как попало на грубо сколоченных полках лежали и стояли.

Пригляделись. И вот уж сказка так сказка! Пятитомник Бунина как поступил, так никем и не открывался. Синий том избранных произведений Булгакова, Платонов полным набором. А там, тускнея золотом, томится библиотека приключений, серийные, подписные, тонкие и толстые, отечественные и иностранные, нарядные и серые, дорогие и дешевые – все в куче, в свалке, в погребельной неразберихе. И перед этой свалкой подавленная, тупо равнодушная ко всему хозяйка, у которой никто ничего не покупает, разве что летом какие-нибудь заезжие туристы и отпускники чего прихватывали на бегу, да и то больше из уцененных по три и по четыре раза книг, можно сказать, почти задарма.

Помню книжные базары того сказочного времени. Книг навезено на городскую площадь или в центральный магазин – горы, и к ним, ко книгам-то, авторы приставлены – содействовать, значит, книжной торговле и успеху современной литературы.

И я стаивал. И надо мной в ту пору красовался плакат с крупно написанными словами: «Праздничный книжный базар», с обязательным умным изречением какого-нибудь классика, чаще всего Максима Горького, который когда-то заявил, что всем хорошим, что в нем есть, он обязан книге.

Стоишь, стало быть, если летом – преешь, зимой – стынешь возле своих книг, перед тобой советские покупатели ходят туда-сюда и ничего не берут, иные полистают книжку, со вздохом сожаления глянут на тебя и отойдут. Но ведь у нас есть граждане обоего пола, которые непривычны сдерживать свои эмоции, более того, они эти свои эмоции так высоко ставят, что непременно несут их на свет, на люди и, полиставши книжку твою и при тебе, такой вот эмоциональный читатель и покупатель, глядя поверх твоей головы, вроде бы в пространство бросит: «Написал какую-то ерунду и всучить пытается! А никто и не берет. Х-хы».

А ты ж художник, инженер человеческих душ, обостренно чувствующий действительность, понимаешь, что это не в пространство, в тебя выстрелено и так заносит сердце, так потянет сбечь с этого базара. Но сдерживаешься, дужишь, на часы поглядываешь, конца культурного мероприятия ждешь.

Но тут, оживляя мероприятие, пойдет по рядам меж книг массовик-затейник от книготорговли, чаще всего зав. магазином, которому терять нечего, но приобретет он все, если сбудет книги и выполнит план книготорговли. И начнет он

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
агитационно-рекламную работу: «Товарищи! Товарищи! Не проходите мимо! Вот книжка о передовых металлургах. Обгорел, понимаете, металлург, а трудящиеся, наши передовые трудящиеся ему кровь и кожу... Спасли, понимаете! Героя спасли! А как же? Человек человеку... Вот и автор тут! Сам! Живой. Наш, можно сказать, ну пусть не Пушкин и даже не Тургенев пока – но на Глеба Успенского уже тянет. Он вам автографик, автографик...»

Стоишь вот так, бывало, за прилавком, ждешь дорогого покупателя да и затоскуешь: «Э-эх, пошто я на сплав не пошел – от людей далеко, заработка приличная, и природа опять же кругом... Занесло оглоуда в писатели. Во-он их сколько, писателей-то, и все пишут!..»

Ничего в этой реалистической картинке, в этой сказочке не ложь и не обман и никакого намека, но урок добрым молодцам-книголюбам хороший! Признаться, я иногда испытываю здоровое чувство злорадства, видя, как те же покупатели, которые куражились когда-то над книгой и над живыми писателями, что змеи горынычи мечут огонь из ноздрей, топчут друг друга в очередях, бегают по магазинам, ищут «тайные ходы», чтобы добыть книгу, руки готовы целовать автору, который подарит им книгу, да еще с автографом. Это называется фе-но-мен! А по мне так просто погода переменилась и ветер «моды» подул в «книжную сторону».

Тут бы мне сказку и кончить, да жизнь-то уж очень многообразна и нет-нет да и заявит о себе с какой-то совершенно неожиданной стороны, и так-то тебя удивит или огорошит, что невольно возьмешься за перо, чтобы не томиться мыслями и не кипеть в одиночестве.

В шестидесятых годах, в начале их, я хорошо приспособился покупать пластинки в московском магазине «Военкнига», который был на Арбате. Никто тут пластинками не интересовался, а были там навалом музыкальные шедевры, на любой вкус, возраст и сословие.

Но ничто не вечно под луной! Магазин этот на Арбате снесли. Учеба моя в Москве кончилась. Загоревал я, да недолго длились мои печали. Заглянул как-то в провинциальный, бодрой музыкой гремевший магазин и зрю картину: с одной стороны народ толпится, к прилавку ломится, а в другой половине никого нету, один лишь какой-то малокровный очкарик уткнулся в списки, написанные от руки, приколотые к стене, шевелит губами, пытаюсь разобрать написанное. Скоро я выяснил: где народ неистовствует и одежи друг на друге рвет, там продают Пугачеву, Ротару, Кобзона, Лещенко, молодого да раннего Гнатюка, разные ВИА, ТРИО, «машины», «гитары» и т. д. и т. п. А с той стороны, где мучается малоденежный, судя по одежде и смирному поведению, очкарик, читающий с ошибками написанные трудные фамилии разных там Генделей, Гайднов, Шуберта, Шопена, Берлиоза, Чайковского, Глинку, Мусоргского, Шаляпина, Обухову, Марио Ланца, Джильи, Ренату Скотто и т. д. и т. п., – с той стороны все спокойно.

Очкарик вдруг ужаленно вскрикнул, покрыв разнообразный рев современной музыки своим тонким голосом, и метнулся к кассе, вконец перепугавши миротворно дремавшую кассиршу, на ходу выгребая из карманов мелочь, рублишко скомканный добыл и, словно в бреду, все повторял и повторял: «Нашел! Нашел! Столько лет искал!...» И ушел из магазина, прижимая к груди пластинку. Кассирша сказала, пожав плечами, скучающей продавщице: «Чокнутый какой-то!»

В том магазине далекого областного города хранились, точнее сказать томились, кисли музыкальные клады, глаза разбегались от изобилия скопившейся музыкальной продукции. Помнится, все деньги, какие были при себе, я ухлопал на покупки, и когда стал платить в кассу, то кассирша в чем-то засомневалась и крикнула продавщице: «Софочка! Софочка! Тут никакой ошибки нету?» – «Нету, нету!» – ответила Софочка – и вижу я в зеркальном отражении стекла – огорожи кассы – вертит пальцем у виска, дескать, дядя с «приветом», тоже чокнутый, как и тот очкарик, который только что удалился.

Город тот и магазин вызнали москвичи и ленинградцы, летом наезжают в него и раскупают бесценные по содержанию и очень доступные по деньгам пластинки классиков мировой музыкальной культуры.

Ну, а как быть с теми городами и магазинами, куда столичные гости «не достают», где нет консерваторий, музучилищ, театров, где так называемая «культурная прослойка» столь тонка, что сквозь нее все ветры дуют, и ничего в ней не

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
застревает, кроме дешевой маскарадной мишуры и модной блескучей пыли.

Побывавши у меня в гостях и послушав пластинки, которые я с такой радостью приобрел и которыми гордился, один секретарь райкома, совсем не отдаленного и не маленького района, сказал: «В другой раз не траться. Приезжай к нам и эти самые пластинки купишь за пятак».

И я поехал, и купил по два, по три раза уцененные пластинки, а был там не только Вивальди, но и Бах, и Глюк, и Бетховен, и хоралы Бортнянского и Березовского, и старинная клавесинная музыка, и орган, и скрипка – все великие композиторы и музыканты доведены до цены в пять копеек, и все равно пластинки никто не покупает и никто никакого интереса к ним не проявляет и стыдом не мучается.

«Хранить пластинки у нас негде, – чуть не плача, говорит заведующая раймагом, которой „навязали“ – она так и сказала – „навязали“ всю эту „музыку“, – потому что специально открытый в городе музыкальный магазин „прогорел“ и никакого от него дохода не было. А пластинки ломаются, гнутся, портятся. Среди них есть ведь такие, которые в крупных городах, поди-ка, ищут?..»

Да, ищут. И часто найти не могут. Это извечные парадоксы нашей торговли: валенки везут в Таджикистан (сам видел их в Душанбе), куртки «на рыбьем меху» – в Сибирь, книги по производству кукурузы и инжира – в Магадан, наставления по пастьбе оленей – в Молдавию.

Книги и музыка – товары деликатные, тонкие, и продавать их, наверное, надо уж если не деликатно, то хотя бы уважительно и умело, чтоб не заявлял продавец в ответ на вопрос о книге или пластинке: «А я не знаю. Я в этом деле не волоку». В большинстве стран мирового содружества в книжные и музыкальные магазины людей без специального образования не направляют, и чаще всего такой образованный специалист управляется в магазине один. У нас же зачем-то бригады, толпы продавцов в пустых книжных магазинах, и все они, как правило, «не волокут».

Радоваться бы, конечно, надо, что книга ныне нарасхват, да что-то не очень радостно от этого «бума». Истинные читатели, как и вообще культурные люди, во все времена в толпу с кулаками не лезли и не лезут, за книгу и за себя не умели и не умеют биться, боковых и «черных» ходов не знавали и не знают, на черный рынок у них денег не хватало и не хватает – вот и стоят в стороне, вздыхают, ноют, жалуются. Барыга тем временем ломится к прилавку, мнет интеллигенцию, к заднему ходу «блатняк» крадется, и в том самом районе, где книги плавали в гнилой воде, секретарь райкома и предрика после рабочего дня сидят и маракуют, как распределить по городу и району шесть подписок на Пришвина: себе две – это само собой разумеется, редактору газеты непременно, иначе продернет за отставание в уборке урожая. Завмагу отдай, обществу книголюбов, заслуженному ветерану войны и труда... «Слушай, – говорит секретарь предрику, – и откуда у нас столько книголюбов объявилось?! Всего какой-то десяток лет назад не то что на Пришвина, на Пушкина и на Толстого подписываться не хотели. Помнишь, мы специальным постановлением обязывали нашу райинтеллигенцию обзаводиться книгой и даже читать...»

Сказку, как и положено у нас заканчивать, заключаю бодрим, реалистическим возгласом-призывом: «Товарищи любители классической музыки! Напоминаю вам, что жизнь многообразна и повороты ее часто бывают непредвиденны – вдруг по нашей необъятной стране объявится необъятное количество меломанов! Что вы со слабыми кулаками и маломатерьяльными связями будете делать тогда? Куда подадитесь? Кому станете жаловаться? Нам когда-то показалось же тяжелым делом везти из Читинской области книжки, а вот молодежная наша делегация не сочла за труд тащить наши отечественные книжки с молодежного фестиваля, проходившего на Кубе, потратив на них скромные свои валютные средства. Не пришлось бы из Испании или из Португалии, а то и со Шпицбергена везти те самые пластинки, которые сейчас валяются в пыли типовых бетонных раймагов».

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru

Я держу в руках книгу, мою повесть «Последний поклон». «Мною», – говорю я и задумываюсь: какая же она моя, когда ушла от меня и принадлежит смутно мною видимому читателю, лицо которого я пытаюсь и не могу себе представить, ибо многолик он, наш читатель, и «моей» повесть была до тех пор, пока я работал ее, писал, выдумывал.

Я и заглядываю – то в нее теперь редко, и, как правило, в первое издание книги, осуществленное Пермским издательством в 1968 году.

Что влечет меня к этой книге? Чем она, уже «ушедшая», чарует меня? А тем, что есть у нее еще один автор – художник Алеша Мотовилов, и это он сделал из моей повести книгу, а до этого она была просто рукописью, напечатанной на машинке. Сейчас же она «построена», как дом; в ней есть крыша, крыльцо, сени и даже кружевные занавески на окнах, а дом весь заселен народом, птицами, скотом. Есть тут и лес, и горы, и река...

Всему этому существуют специальные названия: обложка, форзац, фронтиспис, титул... Но как-то не подходят, не годятся эти слова для книги, построенной Алешей, – настолько она одухотворена, мелодична и красива.

Вот я написал «мелодична» и только тут понял, что в работе художника, так же как и писателя, должен быть свой «голос», своя «мелодия», и, если они соединяются вместе, голос автора и художника, – получается произведение, звуки которого тронут, непременно тронут душу человека, коему и назначается труд художника.

Алеша вместе со своей женой Верой долго работал над моей книгой.

Он не умел, а может, не хотел уходить от текста и добивался точного, образного совпадения с героями книги, пейзажем и в то же время не следовал слепо натуре...

Создавая книгу, выстраивая ее, он не изменял своему видению мира, своему глазу и ощущениям своим, но и не игнорировал того материала, над которым работал, – иначе говоря, не подавлял автора, и не «высовывался» вперед, как это нередко делают сейчас художники-графики, заботясь прежде всего о своей «оригинальности», а на автора им вроде бы уж и наплевать. Потому-то такие художники готовы оформлять кого угодно, когда и сколько угодно.

Алеша не мог оформлять кого угодно, ему надобно было «почувствовать» писателя, полюбить его книгу и как бы соединиться с автором воедино.

Кому как, а мне такие художники ближе, и оттого, наверное, когда я открываю «Поклон» в Алешином исполнении, то как бы еще и нутром вижу, как женщина пьет жадно из медной кружки, и чувствую сухость в горле, ощущаю, как воскресает мое иссохшее нутро; слышу, как топчут кони, бегущие с водопоя, и каркают нахохленные вороны на кольях опустевшего огорода...

Я слышу музыку прожитого художником времени, от которого осталась вот эта тихая симфония в рисунках, и чувствую мир его живым и трепетным.

В работе, и только в работе душа человеческая. Алеша сделал много за свою короткую и неброскую жизнь, но до обидного мало успел он поработать в графике, где с первой же книги был замечен, и для «Последнего поклона» я уже другого художника не мыслил и не выбирал.

Жизнь человека кажется очень длинной, и мы не так уж часто балуем друг друга вниманием, дружескими разговорами и встречами. Мало мы виделись с Алешей, но одна встреча навсегда осталась в моей памяти.

Алеша с женой и двумя сыновьями заехал в деревушку Быковку, и мы бродили по речке, рыбачили, говорили, варили уху. Ребята его, Аркаша и Дима, поймали по хариусу, сидели у костра, слушали – внимательные зоркие ребята, Алеша, намолчавшись в своей келье-мастерской, говорил и говорил, и Вера поглядывала на него неодобрительно: вот, дескать, понесло мужика, а то смеялась, махала на него рукой. Он был работяга-затворник, и такие часы и минуты случались у него не так уж часто, и оттого так оживилось его смуглое лицо, а серые глаза искрились, жили и все-все видели вокруг и в себе. Он был красив в те минуты, полные раскованности, и еще был красив оттого, что говорил о красоте земной, о древней резьбе по дереву, увиденной им в Чердыни, о родине своей – Урале, о лесах, реках

и горах...

И вот его уже нет. Но остались сыновья – Аркаша и Дима, которые пошли по линии отца и матери; остались книги и картины, одна из них висит у меня в квартире на стене – небольшой пейзаж, исполненный гуашью, на нем наивная голубая речка, коровы, пасущиеся на косогоре, лесок за ним, желтые копны на яру и по-над речкой сизый ольшаник, а из него течет тропинка на косогор и дальше к небу, где загадочно проступают высокие горы...

В тот приезд в Быковку написал Алеша пейзаж, но это не быковский пейзаж, то есть он «быковский» и в то же время как бы всеместный, и предосенняя грусть его, и загадочная даль, и отобранные, точно построенные детали, знакомые и родственные каждому, – это наша русская земля, просторная и прекрасная, как жизнь...

В день моего отъезда из Перми Алеша принес мне эту картину, как всегда стесняясь чего-то, тихонько, чтобы никто не видел, подарил ее...

Больше я Алешу никогда не видел, но есть у меня книга, им сделанная, и картина. Это – добрая память о нем.

Да вот беда: память никогда не заменит живого человека, и грустно мне, и горько, что не побродить уж нам вместе по тропинкам родной земли и невозможно уж сказать себе:

«Вот когда закончу эту книгу – попрошу, чтобы ее оформил Алеша: уж очень русская мелодия звучит в его рисунках...»

Всему свой час

Мой дебют в театре случаен и даже несколько странен. Жил я тогда в Перми, много писал, и дело с прозой у меня более или менее ладилось, во всяком разе работа той поры доставляла мне удовольствие.

И вдруг из местного драмтеатра мне предложили написать пьесу, и я, естественно, отказался, ибо занят был сильно и еще сильнее запуган спецификой театра, его особым видением жизни, его, наконец, сложными историческими традициями и в особенности словами о «постоянной плодотворной работе с авторами».

Что такое «работа с авторами», я знал уже по журналам, издательствам, и у меня было достаточно оснований опасаться подобных заявлений, ибо чаще всего это означает бесцеремонное вмешательство в текст и даже в замысел тех, кому кажется, что они больше писателя понимают «специфику жанра» и даже тайну замысла и мировоззрения глубже самого автора постигли. Опасная это самоуверенность людей, «приставленных к литературе», много она наносила и наносит вреда нашей работе, подгоняя ее под какой-то всеобщий не вид, а подвид литературы, лишая ее индивидуальности и новизны.

Словом, от первой попытки театра завязать со мной отношения я вежливо уклонился. Но театр нуждался в пьесе, его, как я узнал позднее, не пускали в Москву на гастроли без спектакля, сделанного по пьесе местного автора. И правильно делали, добавлю я теперь от себя. Сколько бы ни пыжились областные театры, сколько бы ни самовозвеличивались и ни упивались самоздравием, тягаться им со старыми московскими театрами в постановке одних и тех же пьес весьма трудно – силенки не те.

Я понимаю, какой гул негодования по всей неоглядной провинции вызвал сими строками, и тем не менее, вдосталь насмотревшись и наслушавшись «периферийного искусства», со всей ответственностью могу заявить, что спектакли, да и сам театр, равный столичному, видел лишь один до войны в Игарке, но... его возглавляла Вера Пашенная, и актеров она «понавезла» с собой из... столицы!

Самое для нас, живущих и работающих в провинции, опасное дело – это самообольщение. Чем его меньше, тем меньше провинциальности в работе, тем

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
спокойней живется и больше остается досуга для восполнения культурного багажа, который в столице можно получить посредством общения с людьми, с тем же театром, выставками и пр. и пр., а в районе или в области на это надо тратить свои силы, работать напряженно, чтобы не отстать от заданного ритма современной жизни, или, выражаясь модно, «держат тонус». Я потому говорю «мы», «нас», чтобы понятно было, что и сам болею многими провинциальными болезнями.

Пермяки потихоньку, полегоньку соблазнили все же меня попробовать, и я однажды сел и написал тридцать с чем-то страниц «драматического текста». Посмотревши мое творение, режиссер и знакомые мне актеры не разругали меня, но сказали: «Мало. Надо еще». Думал я думал и еще сколько-то страниц выдумал, точнее, выудил из давнего своего рассказа, и все мало.

А я уж разошелся, или, как у нас опять же в провинции часто по радио говорят, – заразился! Любопытство меня разобрало, задор появился. И ну я катать, ну катать! А главреж из театра Иван Тимофеевич Бобылев меня подбадривает да похваливает, подбадривает да похваливает!..

Тем временем по его поручению его «подручные» рыскают по окрестностям и ищут пьесу, желательно на местном материале и местного автора. И вот ведь чудеса – находят! На мою беду, как мне в ту пору казалось, а в самом деле на мое счастье, один пермский студент защищает в Москве в Литературном институте диплом готовой пьесой. Пьесу хватают, с ходу ставят и мчатся в Москву на гастроли. И театр, и пьесу молодого автора в столице принимают хорошо, главреж получает лестное предложение принять один полуразвалившийся столичный театр, ибо к той поре он уже прослыл спесом по спасению прогоревших театров и на моих глазах «поставил на ноги» впавший в нетихую спячку, наполненный не творческими поисками, а дрызгами Пермский областной театр.

Обо мне, разумеется, в театре напрочь забыли. Случалось, какой-нибудь заезжий режиссер попросит посмотреть пьесу и с извинениями вернет, либо знакомые артисты позвонят, поговорят про погоду, спросят, как работается, и виновато вздохнут в трубку.

И хорошо, что я работал над первой пьесой как бы балуясь, движимый любопытством, не покидая свою тихую и трудную матушку-прозу, где сам ты себе голова и ни от кого не зависишь, хотя бы в ту пору, когда пишешь, переписываешь, черкаешь. А занимайся я «на полном серьезе» пьесой, весь «отдайся театру» – это какую же бы мне нанесли травму милые театралы, это насколько же вышибли бы они меня из творческого настроения и ввергли в пучину душевной депрессии, в которую и без их помощи трудно и давно работающий писатель впадает часто от усталости и нервного износа!

Я потому так подробно об этом «начале», что не везде и не во всех наших театрах понимают всю ответственность работы с писателями, особенно с писателем, далеким от театра, работающим профессионально, который дорожит не только словом и именем своим, но и временем, какового ему вечно недостает.

И бросил я пьесу в стол. И не тянуло меня больше баловаться в области драматургии. Урок воистину пошел впрок.

«Шли годы, бурь порыв мятежный...» И прошло их ни много и ни мало, почти семь. Я за это время переехал жить в Вологду. Работалось мне хорошо, стало быть, и жилось недурно, ибо вся жизнь писателя, всерьез и навсегда отдавшегося своему любимому и маетному делу, зависит только от работы.

А тем временем другой писатель, движимый «тайнами творчества» и все тем же зудом любопытства, желанием постичь секрет как будто и недоступного жанра, потихоньку пишет пьесу, и невдомек мне, что его пьесе дано будет повлиять на «явление» моей.

Сперва народный театр города Череповца, затем и областной Вологодский театр ставит пьесу Василия Белова «Над светлой водой». Успех. Овации. Местная пресса отмечает историческое событие – появление первой пьесы вологодского писателя на вологодской сцене! Все мы, друзья и знакомые автора, после премьеры пошли по тихим улицам заснеженного города. Именинник, то есть Белов, сомлел, молчит, а мы, значит, шумим, руками машем, да все про театр, да все про искусство!..

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru

Само собой, шибче всех раззадорен постановщик пьесы Белова Василия Валерий Петрович Баронов. Он, человек южный родом, горячий, прямо-таки печкой пышет, доказывает, что периферийный театр, любой, обязан в основе своей иметь свой репертуар, фундаментом которого должна служить местная драматургия, иначе это не театр, а прилипала – маленькая рыбка, прилипшая к большой рыбине. И что в Вологде, при такой-то сильной писательской организации, и вовсе грех жить театру без этого самого «своего фундамента».

Из дальнейшего разговора выясняется, что поэт Александр Романов давно потихонечку пишет пьесу о деревне, что начинающий прозаик Александр Грязев сочиняет драму про поэта Батюшкова...

– А вот вам, вам, – налетел на меня Баронов петухом, – почему бы не попробовать?

А я всегда очень любил, и люблю театр. Костюм новый наденешь, рубаху чистую, галстук прицепишь, ботинки почистишь – и пойдешь! И ровно в иной мир окунешься, особенно, если театр старинный, в них и пахнет-то по-особенному, и весь ты в себе притихший сделаешься, робкий, как дитя на взрослом таинственно-сказочном празднике. Особенно любил и люблю я оперное искусство. В оперном театре все эти мои ощущения всегда во мне производили какое-то утепление, умиление, и, случалось, плакивал я не раз на спектаклях, как плакал в весеннем лесу, выздоровев после смертельной раны, явившись как бы с того света в шумный и светлый мир.

Необходимое всякому человеку это место – театр!

Еще и еще я перебирал в памяти только что пережитое – сдержанные, скромные вологжане радовались и хлопали так, как будто они сами сотворили «про себя» пьесу и жили своей жизнью там, на сцене «своего театра».

Непомерно расчувствовавшись, под воздействием минуты я и ляпнул Баронову:

– А что мне пробовать? Я уж разок попробовал, да не родил...

Баронов назавтра же был у меня и, пока я ему не дал пьесу, из дому не удалился. Говорил я ему про свое драматическое творение самое худое, как меня в том убедить успели, повторяя главный, неотразимый аргумент: пьеса написана без знания законов театра...

Часа через два Баронов уже звонил мне и орал в трубку:

– Да на кой они вам, эти законы? Тут главное есть, не затуманенный ложной многозначительностью замысел, характеры, язык. А законы мы сами сотворим, да такие, что у вас зубы занюют!..

Через несколько дней я читал старую свою, но, как оказалось, неустаревшую пьесу в театре. Слушали внимательно. Приняли. Наметили сроки постановки с таким расчетом, чтобы я мог еще поработать над пьесой совместно с режиссером, но, как это нередко бывает в областных театрах, климат в нем резко изменился, режиссеры повздорили, разошлись, и один поехал на юг, другой – юго-запад. Да кабы они уезжали просто так, а то ведь непременно прихватят с собой двух-трех ведущих актеров, оголят репертуар, посадят на мель театр...

Большое это горе, большая беда для местных театров – текучесть. Ведь даже в футболе есть законы о переходе, частенько, правда, нарушаемые, а тут и вовсе анархия.

Я уже забывать начал о своей новой вылазке в театр, как вдруг звонят из Москвы, да не откуда-нибудь, а из театра имени Ермоловой, и не кто-нибудь, а сам главный режиссер Андреев! И говорит не чего-нибудь, не чепуху, не дешевые комплименты, но сразу быка за рога, – просит разрешения поставить пьесу!

Я, естественно, растерялся, лепечу что-то, мол, пьеса несовершенна, обратно – законы...

– Господи! – говорит Андреев. – Дались вам эти законы! – И повторяет почти слово в слово, что говорил когда-то Валерий Баронов.

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru

Пока Андреев говорил, я малость приободрился, как, спрашиваю, вы про пьесу узнали? Где добыли-то? Андреев – мужик тертый, смеется: «Секрет фирмы». По голосу слышу: человек не праздно – заинтересованно со мной толкует и серьезные его намерения. Не так уж часто оказывается подобное внимание нашему брату периферийному писателю, и я не без робости, но и не без радости дал «добро», с условием, что над пьесой надо еще много работать, что сам, чем могу...

Однако заявил я сие сгоряча. То было время, когда я заканчивал работу над новой повестью и до театра никак руки не доходили, да и не верил я, честно говоря, что так вот сразу и начнется работа, завертится карусель. Вот оно, пренебрежительное, наплевательское отношение к пьесе и автору Пермского театра когда сказалось, вот оно чем обернулось.

Я не проникся серьезностью намерений театра, не представлял всей трудности постановки пьесы на сцене, всей сложности и объемности предстоящей работы, потому и не поспешил сразу же на помощь театру, не схватился доделывать не просто сырую, но и рыхлую пьесу, а ведь в прозе я давно уже никому не показываю недоделанных вещей, все делаю и доделываю сам, отстаиваю каждое слово, каждую строку, при редактировании никому ничего не передоверяю.

Игрушкой, чуть ли не забавой казались мне на первых порах театральные начинания. И знакомство с труппой театра имени Ермоловой, которого я так опасался, произошло как-то непринужденно, свободно. Все ермоловцы, и мужчины и женщины, сплошь мне показались симпатичными, обаятельными, добрыми, а тут еще главный режиссер поддал жару, тихонько мне сообщив, что в пьесу они влюблены.

Владимир Алексеевич Андреев, которого я теперь знаю несколько поближе, – человек одержимый, истово влюбленный в русскую литературу, в театр, один из тех, кто не на словах, а на деле дорожит русским словом и отечественной культурой, ее традициями, и не просто дорожит, но отстаивает в работе свои принципы и убеждения, что не могло не импонировать мне. С самого начала работы в литературе терплю я поношения за «областной, лаптями и щами пахнущий язык», за «натурализм», за «бытовизм» и т. д. и т. п.

В полном наборе присутствовали в пьесе «Черемуха» и «натурализм», и «бытовизм», и «онучами пахнущий язык». А театр в самом центре Москвы, старейший театр. Мне бы испугаться, а я этаким новоиспеченным драматическим кавалером щеголяю.

Но вот однажды я взял и без разрешения Андреева, который ставил «Черемуху», пришел в театр, на репетицию. Не на первую – на одну из последних, когда спектакль почти уже сложился и его «доводили».

И вот тут-то я наяву увидел, что актеры и режиссер делают то, что должен был сделать я, – они «дотягивают» за меня мое произведение. Им и работается трудно потому, что было слишком легко мне. И хорошо, и ладно получилось, что в Перми не поставили пьесу. На ходу, в предгастрольной спешке что бы состряпали пермяки из такого клёклого драматического теста? Да и время, время, внезапно понял я, тогда для этой пьесы не наступило...

«Всему свой час и время, всякому делу под небесами...» – хорошее изречение, я очень люблю его и часто им пользуюсь. Но вот наступил «мой час» в театре, а сделать-то я уже ничего не могу.

Постановщик, осунувшийся лицом, ощущает недостаток действия, динамичности материала в моей драме и переизбыток длиннот, он на ходу латает, домысливает, ищет, делает вставки из моих рассказов и в конечном счете выпускает спектакль.

Премьера! Цветы! Радость! Обнимания! Целования! Скромный банкет. Жизнь спектакля началась, и он идет третий сезон, идет, слышал я, все еще при полном зале. На каком-то смотре или на Московской театральной весне, я в этом не разбираюсь, исполнители главных ролей Татьяна Говорова и Сергей Приселков были удостоены Золотой и Серебряной масок, были и другие поощрения, спектакль хорошо принимают на гастролях, он получил доброжелательную прессу. Через год «Черемуха» была поставлена в Вологде главным режиссером областного театра Леонидом Топчиевым – как оказалось, тем самым человеком, который занимался в творческой студии Андреева и показал ему мою пьесу, – вот и весь «секрет фирмы».

В Вологде получился иной, нежели у ермоловцев, спектакль. Не мне судить, какой

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru лучше, какой хуже. И здесь публика ходит на «Черемуху», и об этом спектакле хорошо писали и пишут, но меня все еще не покидает чувство внутреннего неудовлетворения, чувство неловкости оттого, что все же сырую, очень сырую я отдал пьесу в театр.

У писателя всегда есть возможность исправить свою ошибку, улучшить свое произведение. И я переписал «Черемуху». Театры ермоловский и вологодский, кстати, упорно осуществляющий свою мечту и уже поставивший четыре спектакля по пьесам местных авторов, – своими спектаклями ободрили и подвигли меня на эту работу, открыв те возможности в пьесе, которые я, хотя и чувствовал, да не видел до сцены.

Конечно, и в нынешней редакции «Черемуха» далека от совершенства, и мой скромный труд и дебют в театре не дают повода к тому, чтобы раздражаться такой длинной статьей. Но я думаю: а вдруг кому-то пригодится, кому-то поможет пусть и маленький, но, как мне кажется, весьма поучительный «мой опыт»?

Что же касается лично меня, то я считаю, что мне дико повезло; я попал именно в те театры, именно к тем режиссерам, к которым и должен был попасть со своей первой пьесой.

Это не значит, что я во всем согласен с режиссером и со всеми поисками данных театров. Важно, что наши взгляды на жизнь, наше мировоззрение совпадают в главном, и еще очень важно, что теперь есть на свете театр, и не где-нибудь, а в самой столице, в который я могу прийти как в родной дом, с уверенностью, что мне здесь рады, что от меня здесь ждут новую пьесу и вообще по-свойски ко мне относятся.

И я уже пишу новую пьесу, но на этот раз не торопясь. Постараюсь сделать ее так, чтобы ни режиссер, ни актеры ЗА МЕНЯ не работали, не тащили пьесу, словно воз со щепенкой в гору.

Однажды я посмотрел у ермоловцев спектакль «Играем Стринберга» Дюрренматта. Интересный, крепко сколоченный спектакль, исполнители все на высоте, но вышел я из театра совершенно раздавленный, словно катком меня по асфальту раскатали, ни с кем не хотелось говорить, никого не хотелось видеть, да и жить не очень манило..

«Зачем вы ставите такие спектакли? Разве человеку легко? Разве мало в его жизни мрака, язв, сволочизма, тягот и несчастий?.. Зачем же еще и театр присаливает человеческие раны?..»

Так или примерно так вот напирал я на Андреева потом. Должно быть напирал не я первый и не я последний.

Веселый человек, умный актер и режиссер, он на какое-то время грустно стих и, помолчав, спросил, в свою очередь, тоном строгим, непреклонным: «Зачем же вы и ваши товарищи по перу в своей прозе так сурово реалистичны, непримиримы ко злу, а театру что ж, оставляете право только на мишуру и увеселительность? Театр ведь не просто продолжение жизни, он составная часть ее... И какова жизнь человеческая, таков должен быть и театр. Разумеется, необходимость развлекать людей была и остается за театром, но лично я оперетт не ставил и ставить их не люблю и не буду».

Прошлой весной в Варшаве я смотрел в Малом театре «Месяц в деревне» Тургенева и, кажется, ничего еще чище, светлей и возвышенней не видел! И страсти-то, по сравнению с нынешними, игрушечные вроде бы, рафинадные, и далекие все эти «усадебные» драмы от сегодняшних драм, а вот, поди ж ты, не единожды сжало горло, слезы навертывались на глаза во время спектакля, потому что видел я прекрасное! А оно вне времени, оно всевечно, оно всегда высоко, но, чтобы понять, осмыслить и принять в сердце, в самую его глубину это прекрасное, необходимо знать, видеть и чувствовать всю пропасть человеческого падения, обнажать язвы на теле человеческого общества. Прикрытые платьем, пусть даже и модным, язвы не перестают быть язвами, вот почему в конце концов понял режиссера, поставившего тяжелую, страшную пьесу о людях, гибнущих во зле и алчности, и принял спектакль «Играем Стринберга».

Но в той же Варшаве, в махоньком театре, и не театре вроде бы, а в балагане с

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
названием «Башня под пороховницей» («Стара проховня» по-польски) я смотрел какой-то уж совершенно озорной спектакль – «капустник» по мотивам Шекспира, где играли одни только женщины, и мужские, и женские роли, даже осовремененного гомосексуалиста исполняли женщины, да так лихо, с таким задором, что захохотался я до колик. И режиссер театра, даря нашей делегации на память театральные программки, с неподдельным изумлением сообщил, что пробовал вводить в этот спектакль мужчин и ничего, ну, ничего решительно не получалось, спектакль делался вялым, несмешным, и пришлось от такого варианта отказаться.

Словом, оба спектакля, такие разные, такие неожиданные, очень мне понравились, а вот известный московский театральный критик, ездивший вместе с нашей делегацией в Варшаву, сказал, что все это старо, скучно и что есть всего два-три режиссера в Москве, которые по-настоящему знают, чувствуют и дают еще что-то уму и сердцу, и в качестве «новаторского» примера привел спектакль «Отелло» в одном из театров, где актер, исполняющий Яго, выходит на сцену на руках – это-де перевернутый мир, мир, видимый глазами злодея...

Когда тебя вот так авторитетно поучают, чувствуешь себя первоклашкой, который явился в московскую образцовую школу в деревенских залатанных штанах, с сумкой, сшитой из старого бабушкиного фартука, с ручкой, выстроганной из палочки, с привязанным к ней ниткою пером.

По-настоящему культурный человек никогда не допустит, чтобы вы при нем чувствовали себя неловко и угнетались своей «некомпетентностью», – это я уже знал, испытал на себе и возразил московскому критику в том смысле, что, мол, без опары пирог не ставится, а тут «опара-то» не простая, а золотая Шекспир! У него, насколько я понимаю, никто, в том числе даже злодей Яго, вверх ногами не ходит. Уважать бы надо классику-то!..

«Уважать или раболепствовать?» – «Да, классика потому она и классика, что сама исключает всякое раболепство». – «А поиск? А новаторство? А дерзость режиссера?» – «Так дерзость иной раз состоит в том, чтобы без билета в автобусе проехать, окно разбить, в кастрюлю соседу плюнуть...» «Это совсем разные вещи. Законы театра требуют непрерывного обновления, движения вперед и поиска, поиска, поиска...» – «Да кто же против поиска-то? Все человечество ищет чего-нибудь и находит: одни – копеечку, другие атомную бомбу. Но все ищут на земле и в земле. Отчего же театр часто ищет в небе? Он что, вне сфер жизни, вне ее законов, что ли?..» – «Как вы не понимаете? Театр обновляется, театр ищет себя нового, неожиданного!..» «Это неожиданное, когда скоморошество, синембузия, фольклорное действо, уличное празднество, кабацкая удаль и стилизья дурь объединены вместе, да?..» – «Но ведь вы приняли спектакль в „Башне под пороховницей“?!» «Это – потеха, забава, не претендующая на обобщения и глобальность. Одно дело, когда делается „по поводу“, и совсем другое, когда „всерьез“ осовременивают, кастрируют, „переосмысливают“ того же Шекспира, Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Даже дописывают за них! Это уже, простите, наглость самозванцев, именующих себя новаторами. Они ставят себя выше классиков, и дело доходит до того, что восстановленный Борисом Бабочкиным текст „Грозы“ становится открытием для публики. Оказывается, шедевр великого русского драматурга кого-то не удовлетворял, и много лет „Гроза“ шла „кастрированной“, и к ней такой привыкли, ее такую „узаконили“ на сцене! Стыд-то какой!..»

В споре рождается истина. Бесплодна лишь смерть. Однако спорить в искусстве, я полагаю, надобно самим искусством; в литературе – самой литературой, отвергая, уважать, не бить посуду, не глумиться над противником, как тому я был свидетелем однажды.

Знакомый актер пригласил меня на «приемку» спектакля «Село Степанчиково» во МХАТ. Достоевского я люблю давно и преданно, но на сцене, да еще на такой почтенной, видеть его мне почти не довелось. Спектакль не просто покорила меня, он меня потряс. Алексей Грибов в роли Опискина творил чудеса, но в театре творилось что-то совсем мне непонятное, дикое: какие-то люди громко изъяснялись, шелестели обертками конфет, хихикали, и не в перерыве, а дождавшись, когда погаснет свет и начнется действие, вставали с мест, хлопали сиденьями и, громко топая, уходили... А ведь в зале-то был зритель не простой – театральный, все по приглашениям. Справа от нас сидела Алла Тарасова, которую я никогда вживе так вот близко и не видел. Она горестно качала головой, на лице ее было страдание.

«Что это они?» – спросил я у своего знакомого. – «Демонстрируют презрение к

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
МХАТу». – «Да кто же они такие? Ведь вон Тарасова, вон великие старики актеры всюду. У меня сердце обмирает от того, что я с ними в одном зале...» – «А у этих нечему обмирать! Это около-театральные мальчишки и девочки, делающие вид, что они объелись всем, в том числе и искусством».

Спектакль «Село Степанчиково» шел во МХАТе много лет с огромным успехом, его не раз показывали по телевидению. Никакие мальчишки и девочки не могли остановить жизнь старейшего театра: МХАТ есть МХАТ, Малый есть Малый, Большой есть Большой! Сколь ни грохочи сапогами, они стояли, стоят и, надеемся, стоять будут «на своем», но я никогда не забуду, как страдала любимая актриса за оскорбление театра, за работу исполнителя главной роли, который, преодолевая шум, галдеж и неуважение оголтелой кучки модничающих молодых зрителей, перенапрягался в своей и без того испепеляющей, страстной работе. И кто знает, может, Алексей Грибов не дождал какие-то дни, недели, месяцы, не доиграл что-то из того, что еще мог сыграть, чем мог порадовать всех нас, его искренних и истинных почитателей, из-за того дня, из-за того давнего спектакля. А ведь, наверное, и на других «приемках» и «просмотрах» бывали такого рода «демонстрации»?

Вот и все, что хотелось мне сказать о том, как я «приобщился» к театру. Но как бы я ни «приобщался», как бы ни сроднился с ним в роли автора, оставался и остаюсь его верным уважительным зрителем потому, что зрительская эта привязанность началась еще в детстве, в далеком, утопшем в снежных забоях городке, где был уютный деревянный театр, всегда забитый до отказа отзывчивым народом. Театр носил имя Веры Пашенной, потому что она его основала. Своим творческим подвигом и трудом замечательная актриса озарила жизнь северян, живших и трудившихся в суровых условиях Заполярья, подарила людям счастье приобщения к слову, к театральному искусству.

Недаром Вера Пашенная была совершенно «своим в доску» человеком в деревянном городе Игарке, но почиталась как богиня!

Каки сами – таки сани

Красноярский театр имени Пушкина после глухого и длительного застоя переживает период определенного подъема.

Труппа красноярского театра, точнее ядро ее, довольно профессионально и дисциплинированно.

Свидетельством зрелости театра и главного режиссера Леонида Белявского, художника Баженова, таких актеров как Трущенко, Боровков, Жуковский, Мокиенко, Дибенко, Семичева, Лукашенко, Королев, Селеменов, Бухонов, Милошенко, Кузьмин, Сорокина, Михненко, да и всего состава, занятого в лучших спектаклях – «Театр времен Нерона и Сенеки», «Вдовый пароход», «Мельница счастья», – является постановка этих спектаклей, ярких по выдумкам и актерским работам, дающим возможность проявить свое дарование, но еще более угадать, предположить эти возможности, которые очень часто из-за поспешности, всеядности, желания угодить «вперед смотрящим», все наперед и лучше «капитана», стоящего на мостике, знающим и направляющим театральный корабль «куда надо», не реализуются.

Погоня за планом и зрителем, нажим сверху – привели было и наш красноярский театр к тому, что он стал плохо посещаться. И тогда руководство театра, его художественный совет вместе с главным режиссером, обладающим достаточным вкусом и опытом работы, ударились в ту крайность, которая подстерегала и подстерегает многие наши театры, и не только провинциальные. Красноярцы принимают к постановке и являют миру «кассовые спектакли»: «Я – женщина» и «Саркофаг» – пьесы конъюнктурные, слабо, на потребу дня написанные, – они производят удручающее впечатление, унижают актеров, низводя их способности и творческие возможности до ремесла, притом сиюминутного, размагничивающего, позволяющего творить вполсилы, бессмысленно и равнодушно, точнее сказать, «театрально» ходить, лучше бегать по сцене, орать во всю глотку и закатывать глаза, изображая «страсти».

К зрителю можно и нужно идти не через дешевое потакание низменным вкусам и

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru «запросам», а воспитывая оные, работать с учетом возможностей данного театра, данных актеров, то есть актеров именно красноярского театра, но не хвататься за то, что сейчас на виду, в моде и по силам другим театрам. Это лишь нивелирует театр, делает его безликим, похожим «на всех», и самое страшное – стирает в синтетический порошок талант артиста, лишает его индивидуальности.

Главный режиссер может покинуть театр, уйти в другой и начать там «новаторствовать» или тянуть взмыленную лямку ремесленника. Но что делать артисту? Ему от себя и от своей бедной зарплаты некуда уйти. Как он будет преодолевать в себе развращенность полурработой, виртуозное приспособленчество ремесленника? До творчества ли ему, если его гонят, как колхозную лошадь со сбитой спиной и шеей, растертой плохо сшитым хомутом в кровь, люди, не умеющие держать вожжи в руках и все-таки желающие обогнать всех рысаков, в том числе и столичных. Как возможно за двенадцать (!) дней ставить очень сложный в техническом да и исполнительском отношении спектакль? А ведь ставили! И говорили: «Потом, в работе, от спектакля к спектаклю творение это будет набирать силу. Вот посмотрите десятый или шестнадцатый спектакль – и убедитесь!»

Эти утешительные сентенции я слышал много раз и на периферии, и в столице.

Но зритель не ходит пока в наш театр по шестнадцать раз подряд и не может видеть, как «в процессе дозревал и дозрел-таки» тот или иной спектакль. Порой и чаще всего он, как овощ, убранная веселыми студентами с тучных колхозных полей, так и не успев дозреть, сгнивает в овощехранилищах, которые народ точно называет «овощегноилицами».

Я с тревогой смотрю на наш театр. Здание старое, полуистлевшее, на сцене и за сценой холодно зимой и жарко, пыльно, душно летом, подсобные службы никуда не годятся, рабочие сцены часто меняются, а то и вовсе исчезают, и не могу нарадоваться порой, не восхититься, что в этих, почти невозможных условиях, люди упорно работают, творят и порой «выдают на-гора» хорошие, крепко сделанные и сыгранные спектакли.

А что если выдохнутся, устанут? Что если наш театр тоже охватит вечный недуг российских театров, работающих «на пределе», и довольно слаженную, старательную труппу начнет разъедать ржавчина распрей, сплетен и раздоров?

Тогда все мы вместе с направляющим наши дела и мысли руководством культуры края бросимся спасать наш театр. Но я по опыту знаю – давно в провинции живу и провинцию «зрю»: спасать театр, вступивший «на тропу войны» и впавший в творческий маразм, почти всегда бывает поздно, его приходится создавать заново.

И чтобы этого не случилось, нужно театру постоянное внимание (не мелочная опека, не «наставничество», не запретительные окрики), вот именно внимание и помощь, не на словах, а на деле.

Летом 1987 года красноярский театр, носящий имя Великого поэта России, что, кстати говоря, тоже ко многому обязывает, едет на гастроли в очень «театральные» города – Челябинск и Свердловск. Гастроли почетные, рассчитывать на снисхождение и добродушие зрителей Камчатки и Дальнего Востока здесь не приходится. Придется предстать перед хорошо подготовленным зрителем – лицом к лицу. Я желаю, чтоб не пришлось стыдливо краснеть театру и нам, его почитателям, за наш родной театр. Хочется верить в успех на Урале и в то, что ему предстоит еще многое преодолеть и сделать, завоевывая «своего» зрителя. Он, наш зритель, пока что с прохладцей, или со своеобразным «пониманием», относится к искусству театра, валом валит на спектакль с дешевеньким зазывным названием «Я – женщина» и не очень спешит смотреть Достоевского. И сетовать на него нельзя, не полагается, лучше почаще вспоминать, что в Сибири, на родине театра имени Пушкина, говорят: «Каки сами – таки сани». Может, от этого больше пользы будет.

Пакость

Пакостлив как кошка, труслив как заяц.

Русская поговорка

В тамбуре подъезда нашего дома вывернули лампочку. Вечером она еще удивленно и радостно сияла, а утром на стене чернел пустой патрон.

Лампочка стояла тридцать копеек, ее ввернул мой сосед, побывавший в электромагазине как раз в тот момент, когда там «выбросили» лампочки. Со дня сотворения дома в тамбуре нашего подъезда лампочек не было. И вот диво! Сияние! Кто-то еще вечером скрипнул пророческим голосом: «Сопрут!» Но мы не поверили брюзге, дом почти крайний на горе, в подъезде нашем, тоже крайнем, никогда не толкуются пьяницы, парни, сбежавшие с уроков, влюбленные парочки. Кошек у нас всего три на подъезд, собак всего две, почтовые ящики не искорежены, стены не расписаны – все живут «свои» люди, вежливые, смирные, всегда здороваются друг с другом.

И все-таки лампочку увели! У себя! В своем подъезде! Непостижимо, правда?

«А чего тут непостижимого, – возразят мне, – да сплошь и рядом пакости творятся».

Вот послушайте.

В доме, совсем неподалеку от нашего, шесть лет подряд кто-то ночью выносил мусор под лестницу, и к весне его набиралась куча. Веснами эту, начавшую разлагаться кучу убирали жители подъезда, выражали свои чувства, сами понимаете, какими словами. Его, пакостника, караулили, пытались по мусору угадать, кто это, но ни конверта, ни квитанции, ни газеты с номером квартиры за шесть лет так и не смогли найти.

Только смерть, опять же смерть – судья беспристрастный и строгий разрешила роковой вопрос: умер преклонных лет серьезный мужчина – и мусор под лестницей прекратился...

Я знаю шофера, который, завидев собаку на дороге, обязательно старается ее задавить. У самого у него есть собака – лайка, ухоженная, умная. «У меня собака путная, а этих... Всех передавить надо!» Я ему толкую, что лишь фашистам свойственно определять, кто «путный», кто «непутный», кому жить, кому не жить. А он мне: «Слюнтяи вы все!.. Вот и позасорили жизнь-то».

Мы, значит, позасорили жизнь-то, а он, этакий новоявленный добровольный санитар-моралист, ее очищает.

Согласно морали такого вот блюстителя чистоты и порядка, стало быть, нужно вытирать ноги о коврик соседа – у него жена дома сидит, не работает. Если приспичит – разбить бутылку на чужой лестничной площадке, набросать окурков да еще и написать на стене что-нибудь выразительными словами на добрую память собратьям и жильцам; коли старушка слаба и еле движется под автобусу или трамваю, давнуть ее молодецким плечом – пусть сидит, не путается под ногами; коли нет дичи в лесу, не нашлось, не попалась, но зарядов полон патронташ и стрелять хочется – перебить стаканы на телеграфных столбах; коли рыба в речке не клюет – подбросить ей «порошку» и на время обморок устроить; коли подманить дудкой или выследить марала не удастся – петлю на его пути; коли захотелось в доме иметь шкуру медведя, но его, медведя, боязно: задрать может, – борону ему, бродяге, – это когда борону оставляют вверх зубьями и зубья затачивают вроде жегры, наступив на такую борону, медведю ничего не остается, как орать благим матом, взывая со звериной мольбой прекратить его муки.

Продолжить еще? Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? Кто отбирает у детей серебришки? Кто портит телефоны-автоматы? Кто разрушает автобусные остановки просто так, с тоски и от буйства сил? Кто тащит книги из библиотек? Кто таит пять копеек в потной ладони, стараясь сэкономить на автобусном билете? Кто стонет и визжит во время сеанса в кинотеатре, выражая свое эстетическое чувство? Кто врубает на всю ночь проигрыватели, чтобы повеселить соседей? Кто выбрасывает мусор в окно вагона, на головы путевых рабочих? Кто...

Продолжайте, продолжайте! Но пакостников по сравнению с порядочными людьми все же не так много. Откуда же такое чувство, что мы порой опутаны ими? Не оттого ли

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
что примирились с ними, опустили руки? Владимир Даль, опять же он, батюшка, давно и во все времена дающий нам точные ответы, называет пакость скверной, мерзостью, гадостью, злоумышлением, да еще дьявольским, и советует: «Всякую пакость к себе примени... На пакость всякого станет...»

Пакость чаще всего творится скрытно. Если бы ее «засветили», если бы видно сделалось, она, быть может, и прекратилась, ибо пакость, хотя и не всегда любит и часто не приемлет зрителя, все же иногда и при зрителе происходит и для него делается. Если бы пакостить негде было, не рыхлилась бы для нее почва, нечем бы стало ей прикрываться, пришлось бы нам кончать с очень многими дурными наклонностями. Ну, допустим, все из той же пресловутой торговли: себе и друзьям – получше, другим – что достанется; еще лучше: себя снабдить, остальные – как знают. В пятидесятые годы слово «ОРС» расшифровывали так: «основное растащили сами, остальное раздали своим». Мораль сия воспрянула снова. Ну а после того, как растащили, себя и своих снабдили, можно вовсе ничего не делать, только эту шушеру под названием «покупатель» презирать: месяцами не завозить в овощной магазин картошку – грязно; не заказывать хлеб – на хлебе план не потянешь.

А служебная пакость? Кому не доводилось на рабочем месте увидеть подвыпивших и играющих трудящихся – такие жизнерадостные работяги поталкивают молодецкими плечами друг друга или бороться возьмутся, а то карты вынут или домино и ну стучать. Случается услышать откровение: «Сто пятьдесят получаю – и ничего не делаю! Красота!»

Прошлой осенью довелось мне наблюдать, как сплавщики вытаскивали из реки катера на зимний отстой. Тринадцать человек их было, не считая двух мощных тракторов и трактористов. За день они вытащили на берег один катер из шести, поломав у него при этом гребной винт. Напившись и наигравшись вдосталь, бригадир с насмешкой спросил у меня, наблюдавшего за этим действием, – работой сие назвать рука не поднимается: «Ну как?» И я с негодованием ему сказал, что сам видел, как в Финляндии подобную работу без матюгов и спешки делали всего двое рабочих-трактористов и что буржуй-хозяин за такую работу сегодня же вечером выгнал бы всех их вон, «Вот чтоб он нас не выгнал, мы его и турнули в семнадцатом году», – снисходительно хлопнул меня по плечу бригадир.

Ну что на это скажешь? Только руками разведешь и вспомнишь бабушку, которая без особого осуждения, почти с восторгом говаривала о таких вот трудягах: «Грамотные, язвы их!..»

Игарка в тридцатых годах почти сплошь состояла из переселенческих барачков. Среди первых опытных двухэтажных барачков, строенных на мерзлоте, был и барачок номер два, хорошо мне известный, – в нем жил мой дедушка с семьей. Этот барачок, как и все другие, мылся, белился, подметался поочередно. У входа в барачок были вбиты две длинные железяки – скоблilки, лежали голики и веники (не на привязи, как нынче). В самом барачке ни росписей, ни художеств, а ведь в «силу климата» ребятишкам зимами приходилось играть в бабки, в чикку, в прятки, в чехарду под лестницами. Дрались, конечно, парнички, выражались, покуривали в темных углах, но чтоб сорить – Боже упаси! Любый житель барачка мог наткнуть тебя носом в грязь. Вдруг раздавался вопль: «Дзюба идет!» – и ребятишки кто куда, пряча на ходу серебрушки, бабки, окурки, палки. Дзюба Николай Охремович был старостою барачка. Гроза! Власть! Я не помню, чтобы он кого-нибудь стукнул достаточно было его появления. Иногда Дзюба останавливался, нюхал табачное облако, выуживал какого-нибудь огольца из-под лестницы и держал его на весу за ухо минуту-другую, выразительно при этом глядя жертве в глаза. Орать не полагалось, потому что на крик нагрянут родители и добавят – если уж сам Дзюба Николай Охремович тебя наказал, значит, и разбираться нечего, значит, заработал, значит, получай сполна за непотребное дело.

Я заходил в те старые барачки много лет спустя. В них «жили» вербованные. Слово «жили» я беру в кавычки и придаю ему условное значение без кавычек оно не подходит для той картины, какую мне довелось видеть, да и сейчас при желании любой любопытный в любом нашем промышленном городе может ее увидеть.

Есть такое мудреное научное выражение – «среда обитания». Вот это изречение я бы употребил ныне по отношению ко многим современным жилищам, да и не только к ним.

...Предложили мне выступить в одном шибко интеллектуальном учебном заведении. В нем только студентов пятнадцать тысяч. Перед выступлением, от волнения, видно,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
погнало меня в заведение с нарисованной на двери фигуркой в шляпе. Боже ты мой! Даже вокзальные картины, какие наблюдал я не раз в крупных городах, не говоря уж о Богом и людьми забытых городишках, ни в какое сравнение не идут с тем, что я увидел.

Между тем в зале сидели и ждали моих речей и откровений философского порядка модно одетые парни и девушки, мыслящие современно, остро, озабоченные «глобальными вопросами», в особенности «вопросами жизни» экологическими. А я им и брякни, что надо прежде за собой научиться убирать, потом умствовать, что экология как раз с этого и начинается, что, начав с нечистоплотности в вузе, они могут и впредь, когда станут сдавать или принимать в эксплуатацию, допустим, новое водохранилище, этакое рукотворное море, не смущаться тем, что вместо воды в нем плавают воняющей шубой водоросль под названием «водяная чума», а берега устелит и загромодит похожий на чудище плавник, вместо леса будет маячить кладбище черных обломанных стволов. И еще я сказал, что те, выгнанные нуждой из деревни в город дяди Вани и тети Мани, которые веками «незаметно» обихаживали интеллигентных горожан, стряпали, шили, пилили, возили, кончились, их дети и внуки сидят здесь, в зале, и хотят они того или не хотят, но обихаживать себя и свою землю придется им самим.

Кто-то хихикнул, кто-то нахмурился, а кто-то на меня обиделся: как же? – пришли покрасновствовать вместе с писателем, интеллектом блеснуть, а он им такую грубость житейскую...

Пакость многообразна, границы ее бывают размыты житейским морем или сомкнуты с некими нагромождениями, разломами, выносами. Пакость может быть незаметной, но безвредной никогда не была и не будет.

Недавно я услышал рассказ о том, как «украли» ЛЭП! На четыреста верст! То есть одни проходимцы-мошенники, не построив, сдали ЛЭП, а другие мошенники приняли ее, и все получили за это поощрения и премии. Лови-ймай их теперь, мошенников-то! Они сделали пакость и разбежались – утонись-ка за ними!

В глухой тайге, на перевале, видел я странные окаменения, серые и морщинистые, на магму вулканическую похожие, и не сразу догадался, что это бетон. «А чего удивляться-то? – сказал мне шофер. – По всем новым дорогам такое: бетон привезут – принять некому, людей нет. Не губить же машину, вот и вываливают сырой бетон в кусты». Машину, значит, губить нельзя, природе можно!

Нет, я шибко покривил бы душой против истины, если бы окончательный сделал вывод, что пакость всегда интимна, локальна, единолична. Ее можно творить и масштабно. Вот проектировали институты, утверждали инстанции, в том числе и местные, одну большую ГЭС (Красноярскую) с условием, что река ниже гидростанции зимой не будет замерзать лишь на протяжении 25–30 километров, то есть до большого города, которому предстояло еще бурно развиваться, гиблая в зимнюю пору, парящая, ознобная вода не дойдет. Построили мощную гидростанцию, отгремели оркестры, отшумели банкеты. Строители, да и не только они, получили награды – и оказалось, что река ниже ГЭС не замерзает на протяжении 250–300 километров! Какие бедствия и убытки от этого, какой нанесен урон роскошной природе – ведутся подсчеты. Теперь, с некоторым, мягко говоря, запозданием, власти города, ученые ломают голову над тем, как избежать бедствия, нанесенного проектировщиками, и заставить реку жить нормальной жизнью, избавить людей и природу от нечаянной напасти. Людей, большинства из тех, творивших, утверждавших и принимавших проект, пожалуй, за давностью лет уже не найти; но есть и сегодня мудрецы-молодцы, которые небось продолжают так же мыслить и творить дальше – выдумывать еще более «эффективные и экономичные» проекты.

Все мы хотим нормальных, грамотных проектов, а не «липы» с сиюминутной «липовой» экономией; нормальных, честных решений и их нормального, честного исполнения, нормального труда, нормального отдыха. Не один я, уже многие наши люди страшатся хитрых технических операций, экономных проектов, велеречивых статей, книг, кинокартин, где есть все, кроме искусства. Мне, да кабы только мне, всегда за вычурностью, за мнимой многоумной ученостью, прекраснотушными разглагольствованиями, высокими идеями, излагаемыми с открытым, невинным взором, в густоте словесного тумана чудятся плутни, желание скрыть истинное лицо или отсутствие собственных идей и мыслей.

Кому нужно искусственно усложнять нашу и без того непростую жизнь, нагромождать

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
препятствия там, где их не было и быть не должно? К примеру, все мы, граждане, пользующиеся услугами междугородной телефонной сети, могли заранее приобрести разовый талон на разговор. Это во многих случаях было удобно. Но наши намерения жить удобно угаданы и вовремя пресечены: дано указание принимать заказы на междугородный разговор по разовым талонам только из гостиниц и больниц.

Сократилось количество разговоров, значит, и жалобы сократились, сократились заботы, хлопоты, «легче» стало обслуживать население. После этого уж не удивляешься, что, издав приказ или вынеся постановление повсеместно в стране сдавать корреспонденцию и всякую почту только в стандартных упаковках, Министерство связи не ударило палец о палец, чтобы данная упаковка появилась в продаже. Во всяком случае, у нас в Красноярске по-прежнему в почтовых отделениях связи одни почтовые конверты для писем да открытки с изображением сирени, пожелтевшей от тоски и долгого хранения. И нет по-прежнему конвертов большого и среднего формата, их не продают и без них соответствующую корреспонденцию не принимают. Те же конверты, которые изредка появляются, делаются из рыхлой бумаги, и бандероли, как правило, поступают в поврежденном состоянии, то есть в прах разбитые и растрепанные.

Наступит срок – он уже наступил – и вообще перестанут принимать корреспонденцию, запакованную нестандартно. Опять кое у кого убудет работы, забот и хлопот.

Что говорить, многие ведомства и министерства приучили себя к тому, что не они людям служат, а люди им, и гnevаются даже, когда им указывают на «мусор под лестницей».

Вы скажете: «Какая же это пакость?!»

Правильно! Преступление! Но оно начиналось с пакости, уверяю вас. Может, еще родители, может, дед с бабкой пакостные были и коростой пакости заразили этих, с позволения сказать, людей...

Умерла от ран и болезней достойная женщина, бывшая фронтовичка. Женщина та умирала долго, мучительно, на окраине, в доме гостиничного типа, в узенькой комнате. Возле нее никого не было, лишь верная подруга, тоже фронтовичка, навещала ее, прибирала в комнате, ухаживала за ней. Смерть уже стояла у изголовья больной, но она продолжала держаться, и подруга ее догадывалась почему: она не позволяла себе умереть раньше пятого или седьмого числа наступавшего месяца – хотела получить пенсию и отправить младшему сыну, у которого трое детей, а она не сумела его «обеспечить». Она умерла восьмого числа и просила не судить строго «мальчика», если он не прилетит на похороны, – очень далеко, а у него семья, важная работа.

У женщины-фронтовички была когда-то хорошая, еще от матери доставшаяся довоенная трехкомнатная квартира, она разменяла ее и отдала квартиру первому сыну, второму же сыну, жена которого все корила свекровку: «Завоевали, понимаете! Заработали... Сберкнижки нету! Нищета!» – винясь, посылала пенсию, оставляя себе копейки на питание. Последнюю пенсию смогла послать целиком – деньги ей сделались более не нужны. Сын на похороны матери не прилетел... Многообразна, разнолика жизнь, часто и грустна, и непохожи характеры людские друг на дружку, а вот дела, творимые ими, обиход все же частенько совпадают и с обликом их, и с характером. Соответственно и пакость бывает похожа на самого пакостника.

Мне не раз доводилось бывать в покинутых русских деревнях. Ох, какое это зрелище! К нему не притерпеться, не привыкнуть. Я, во всяком разе, не смог. Ведь некоторым селам, которые так поспешно, охотно, вроде бы с облегчением списывали со счета, – тыща лет! А может, и более. И самое печальное зрелище – это оставленная, заброшенная русская изба, человеческое прибежище.

В деревне Гридкино на Вологодчине, которую, слышал я, спалили туристы мимоходом, стоял небольшой дом, обшитый самоструганым тесом, с дворовыми пристройками, резными наличниками, с начатой, но так и не законченной резьбой по карнизу. Двор заперт изнутри, на входной двери дома, под уже ветшающим козырьком, висячий, ржавчиной тронутый замок, и рядом в стену крепко всажен топор с гладеньким, ловко излаженным топорщиком. На крыльце веник и голик, лопата и лом прислонены к стене, под козырьком пересохший пучок зверобоя и душицы, на ободверине еле уже заметный крестик, сделанный мелом.

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru

Я заглянул в окно покинутой избы. В ней еще не побывали городские браконьеры, и три старенькие иконы тускло отсвечивали святыми ликами в переднем углу. Крашенные полы в горнице, в средней и в кути были чисто вымыты, русская печь закрыта заслонкой, верх печи был задернут выцветшей ситцевой занавеской. На припечке опрокинуты чугуны, сковорода, в подпечье – ухваты, кочерга, сковородник, и прямо к припечью сложено беремья сухих дров, уже тронутых по белой бересте пылью. В этой местности дрова заготавливают весной, большей частью ольховые и березовые. За лето они высыхают до звона, и звонкие, чистые поленья радостно нести в дом, радостно горят они в печи.

Часы-ходики уперлись гирей в пол и стояли, в горнице остался половичок, кровать закинута ряднинкой, на окне керосиновая лампа, хотя и электричество было проведено в избу. В горнице же на стене в ряд висели черное пальто, шитое из перекрашенной шинели, и гордость прежних деревянных модниц – плюшевая жакетка, детские самодельные курточки, пальтишки; над «добром» этим виднелась полочка, и на ней стопкой лежали тетради, учебники, к стене приклеены плакаты послевоенной и военной поры, с красноармейцами, матерью, призывающей спасти Родину, трактористами, доярками и красномордым пьяницей, валяющимся в обнимку со свиньей в грязной канаве.

Здесь жили хозяева! Настоящие. Покидая родной дом из-за жизненных ли обстоятельств, по зову ли детей или в силу все сметающей на пути урбанизации, они не теряли веры, что в их дом кто-то придет не браконьером и бродягой – жителем придет, и с крестьянской обстоятельностью приготовили для него все необходимое: ломик – оторвать замок, без топора же и лопаты хозяин ни шагу; темной порой придешь – засвети лампу, без истопли же дров куда? Затопи печь, путник или новопоселенец, согрей избу – и в ней живой дух поселится, и ночуй, живи в этом обихоженном доме.

А через дорогу, уже затянутую ромашкой, травой муравой, одуванчиком и подорожником, изба распахнута настезь. Ворота сорваны с петель, створки уронены, проросли в щелях травой, жерди упали, поленицы свалены, козлина опрокинута вниз «рогами», валяются обломок пилы, колун, мясорубка, и всякого железа, тряпья, хомутов, колес – ступить некуда.

В самой избе кавардак невообразимый. На столе после еды все брошено, чашки, ложки, кружки заплесневели. Меж ними птичий и мышиный помет, на полу иссохшая и погнившая картошка, воняет кадка с прокисшей капустой, по окнам горшки с умершими цветами. Везде и всюду грязное перо, начатые и брошенные клубки ниток, поломанное ружье, пустые гильзы, подполье черным зевом испускает гнилой дух овощей, печка закопчена и скособочена, порванные тетради и книжки валяются по полу, и всюду бутылки, бутылки, из-под бормотухи и водки, большие и маленькие, битые и целые, – отсюда не высеялись, помолясь у порога и поклонившись покидаемому отеческому углу, здесь не было ни Бога, ни памяти, отсюда отступали, драпали с пьяной ухарской удалью, и жительница этого дома небось плюнула с порога в захламленную избу с презрением: «Хватит! Поворочала! Теперь в городе жить стану, как барыня!..»

Мне не составляет труда представить, где и как живут первые хозяева, с семьей уехавшие из деревни, и где вторые. Первые живут в пятиэтажном доме на знакомой мне улице Большевикской, в Перми. Дом как дом, постройки еще пятидесятых годов, малогабаритный, с совмещенными ванной и санузлом, на лестнице в доме не просто чистота, она еще и покрашена «своей» краской, на каждом этаже на окнах цветы, у каждой двери нехитрый коврик, в доме ни клопов, ни тараканов, в подъезде все почтовые ящики целы, лестничные барьеры не изрезаны, не скручены молодецкой рукой, на полу и под лестницей ни сора, ни окурков, ни пустых бутылок, ни стекла – сюда бродяги и блудные дети не ходят, они не любят такие дома.

Вторые хозяева живут, ясное дело, в том доме, на Акмолинской, где умирала бедная женщина-фронтовичка, а напротив нее дни и ночи пел, да какое там пел – «выдавал» расплущенным нутром, сгоревший от денатурата, клея, одеколona, разных аптечных пузырьков и прочих «напитков» голосом «отдыхающий ныне на пенсии» вечный арестант, всю сознательную жизнь проведший в колониях: «А мы тянули вместе срок читьири хода, а ты, с-сэка, к другому фраиру ушла...»

Отчего терпим мы?! Вот он, пакостник, расшеперился, как конь, среди центра города и мочится, по ту и по другую сторону которого идут нарядно одетые девушки, дети, люди сплошь спешат на работу и с работы. Он сквернословит,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
задирает прохожих, презирая всякую мораль и нас вместе с нею. Да подойдите же, подойдите, парни, и дайте ему пинкаря, потом за шкуру его и в кутузку! Он же в глаза нам плюет! Я бы и сам его скрутил, но уже стар, сед сделался и в Союзе писателей состою – мне должно действовать только словом. Значит, он изгаляется, а я ему: «В человеке должно быть все прекрасно», «Вы позорите честь советского человека!..»

Ох, сколько мы слов извели, сколько негодования высказали, сердце изорвали, нервы извели, вывесок больше всех грамотных народов написали, и все с приставкой «не»: «не курить!», «не бросать», «не переходить», «не шуметь», «не распивать». И что же, пакостник унялся? Притормозил? Засовестился? Да он как пакостил, так и пакостит, причем, по наблюдениям моим, особенно охотно пакостит под запретительными вывесками, потому что написаны они для проформы и покуражиться под ними пакостнику одно удовольствие, ему пакостная жизнь – цель жизни, пакостные дела – благо, пакостный спектакль – наслаждение, и тут никакие уговоры, никакая мораль, даже самая, что ни на есть передовая, не годится, тут лишь одно средство возможно, оно, это верное средство, мудрым батюшкой Крыловым подсказано более ста лет назад: «Власть употребить!»

И силу, добавлю я, всеобщую, народную!

Идите посмотреть на себя

Этот спектакль по пьесе Степана Лобозерова с названием «под Радзинского» – «Семейный портрет с посторонним» – до того незатейлив по сюжету и постановке, что так вот и подмывает сказать банальность – проще пареной репы.

В крестьянскую деревенскую избу, где на кровати давно уже валяется с поломанной ногой сам хозяин – Тимофей (артист Бухонов) и обретаются бабка (артистка Мокиенко), а также не поступившая в институт дочка и внучка Тоня (артистка Дацкая), кладовщик местного совхоза или колхоза Михаил (артист Авраменко) приводит на постой приехавшего в деревню – оформлять клуб и подзашибить денег – художника Виктора (артист Селеменов).

Поскольку Михаил имеет виды на Тоню и сразу видно, что он ее ухажер, дабы «нейтрализовать» приезжего и отбить у него всякую охоту заглядываться на симпатичную деваху, он с ходу же заявляет, что здесь, в заезжем доме, Тоня состоит уборщицей, и, поместив постояльца в комнату, делает второй ход по «нейтрализации», заявляя, что постоялец недавно лечился в психиатричке, а в недалеком прошлом и в тюрьме сидел.

Посеяв смятение в дому и подозрительность, Михаил добавляет, что будет заходить каждый час с проверкой – «мало ли чего». Тоня, вмиг разгадавшая хитрость и коварство ухажера, говорит, что он все это придумал, чтоб запугать их. Но уже никто ей не верит и в первую голову бабка.

И начинается на почве подозрительности и испуга такая канитель и свара в дому, что постоялец решается попустить заработком и вернуться домой, в город. Ухажер обескуражен и удручен. Спасая положение, плетет уже гостю, что вся эта семейка, в которой за главного командира и кормильца жена Тимофея, Катерина (артистка Семичева), не в себе, что и сам гость, наверное, заметил: сумасшедшие тут сплошь и лечить бы их надо, а где и как?

По лучшим образцам и традициям русской комедии завязывается драматическое действо и такое, что народ в зале стонет от смеха.

Признаться, я давно не видел на нашей сцене и в кино (хотя в кино-то были – «Любовь и голуби», шукшинские чудики), но на сцене сплошная иностранщина или символы, символы и терзания нагих тел, не всегда и молодых, чаще безобразных (под Додина), не видел такого простого, доброго и веселого спектакля. Без штучек-дрючек, без ужимок и глубокомысленных качаний бедрами и прочими частями тела, без громов и молний, без душераздирающих сцен насилия под модерновые выкрутасы и звуковую какофонию, идет спектакль, поставленный режиссером Андреем

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
Максимовым из петербургского Большого драматического театра, где многие годы творил и мучался один из самых великих режиссеров современности Георгий Товстоногов. У него было много учеников и он всем им говорил, что научиться режиссуре нельзя, но понять кое-что можно, садил рядом с собой стажера или желающего что-то «понять» человека и через год-два отпускал с Богом.

В России очень много подражателей Товстоногову, есть и последователи, но нового Товстоногова нет и никогда уже не будет.

Мне думается, Андрей Максимов, работающий в БДТ, понял все же самое главное – человек буйной творческой фантазии может оживить даже «мертвую» пьесу, дать ей воскреснуть или просто «ожить», допустим, ту же «Хануму», наверное, еще до сих пор идущую в БДТ. Но прежде чем «оживить», «воскресить» или просто сделать спектакль неповторимым, надо суметь точно угадать актеров на роли и увлечь их материалом, над которым предстоит работать. Сам-то режиссер, увы, за сценой.

В Красноярском драматическом театре имени Пушкина произошло совершенно точное «попадание» – все артисты настолько «в материале», так они органичны, интересны, ну просто «как живые». Других актеров трудно и представить в этом спектакле.

Красивое, театральное слово «ансамбль», наверное, тут будет неуместно, а вот семья или артель – для всех шестерых персонажей, по-моему, самые подходящие и пригодные слова. Никого и выделять не хочется, все играют в полную силу, играют так увлекательно и хорошо, что где-то начинаешь забывать, что перед тобой сцена, что играют артисты. Нет, они, эти добрые, смешные и по-русски безалаберные люди живут естественной жизнью, рядом с тобой, чудят, сердятся, выполняют работу, справляют немудрящие праздники на свой простецкий лад, зато уж так ли дружно и весело.

Признаться, я еще и еще раз подивился неувядаемому, озорному таланту давней моей знакомой, любимой не только мной, а всеми красноярцами, актрисы Екатерины Мокиенко, у которой я и отчества-то не знаю – Катя и Катя. Ах, как она естественна, как молода до сих пор, какой задор и здоровье, какое завидное в этом таланте буйство оптимизма и радости. Вот уж воистину человек, от которого можно получать заряд бодрости и надежды.

Идите и посмотрите новый спектакль, красноярцы! Такого русского, такого озорного спектакля давно в наших театрах не было. Театр набирает сценическую культуру и творческую высоту. Может быть, его со временем потянет на дерзость и по плечу ему сделается ставить и Островского, и Сухова-Кобылина, и Горького, и Чехова – все же без драматургии этих товарищей как-то совершенно русский театр не смотрится, и не движется он к своему народу и зрителю на полное сближение.

И еще, вошел я в зал нашего театра и снова ахнул – нет занавеса! Нет того, без чего, говорил покойный Грибов, «исчезает таинство театра». В красноярском театре вроде бы даже и признаки-то занавеса исчезли. Да что же, его пропили иль на портянки растащили, занавес-то?! Или не дает покоя новоявленная мода? Но в уважающих себя старых театрах – в Малом, в том же БДТ, в Вене, видел я, занавес на месте, за ним творится чудо, которого все люди ждут и не устают ждать, хотя бы в театре.

Пред алтарем

Из незаконченной статьи

Глубокоцитимый мною высокопрофессиональный певец Евгений Нестеренко, учившийся вокальному искусству, будучи студентом двух вузов и прорабом на стройке (на нашей стройке!) – на моих глазах, в Вена-опере (в Большой-то не вдруг попадешь!), оживил закованную в латы, навеки, казалось мне, окаменелую роль Дона-Карлоса, которую сотрясти и заставить «жить» на сцене не могла даже Великая музыка и полная драматизма внутренняя напряженность роли. Нестеренко не только пел роль, но и много, даже легко, двигался, будто век был королем или жил при

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
дворе и видел, как ходят, каких манер придерживаются повелители в моменты радости и печали, во дни придворных козней, страшных бурь, войн и страданий влюбленных, смертоубийств, скрытых за мрачными, тяжкими стенами замков, откуда ни стопа, ни смеха не донесется никогда...

Не дело слушателя и зрителя доискиваться того, как и почему удалось достигнуть того или иного, добраться до тайны, дело зрителя и слушателя сопереживать, радоваться, плакать, смеяться, иногда и рыдать, а потом уж, Бог даст, из всего этого что-то и получится, может, даже путный и добрый зритель и слушатель получится...

А какой ценой? Каким путем? Какими трудами и поисками? И это постепенно придет, и этому научишься.

Вот недавно Е. Нестеренко признался, что финальную сцену в «Борисе Годунове» он начал понимать и проводить в последнее время несколько по-иному, потому что на себе испытал сердечные приступы.

Велика цена большого искусства! Велики муки того счастья, какими оно дается, и велик труд, каким он достигается. Вот это надо бы знать каждому зрителю и слушателю.

Серьезна, могуча и беспредельно обаятельна, как-то по-царски величественна, по-русски подобранная на сцене Елена Образцова. Вот она поет, наверное, с консерватории разученную и любимую арию из оперы Масканьи «Сельская честь», поет блистательно, как всегда, вдохновенно, высоко, тревожно. Поет в Японии, и японское телевидение снимает ее.

Дотошный народ – японцы! Им мало снять, как пела гостья, как гремел овациями зал и забрасывал, задаривал цветами солистку, – они проводили с камерой ее за кулисы. Только что белозубо улыбающаяся, бесконечно, однако, с достоинством раскланивающаяся певица по мере удаления со сцены как-то погасала, вроде бы распускалась душой и телом – видно-то со спины! Но вот уже за кулисами она поискала что-то глазами, нашла свою чашечку недопитого чая и отпила глоточек, не забыв подставить под чашечку ладонь (в гостях же! Да еще у японцев – никогда об этом не забудет хорошо воспитанный человек, что он в гостях, что за ним следят, и помнить все это он должен без напряжения, без показухи, интуитивно). И вот, отпив глоточек чая, могучая-то, всегда мне казалось, неутомимая и неустрашимая, знаменитейшая, способная, говорят, из Большого театра, после смертельнотяжелой да и давящей, наверное, партии графини переехать недалеко и во Дворце Съездов, как ни в чем не бывало петь удалую, зажигательную «Хабанеру», певица эта, отпив из чашечки глоток, выдохнула: «0-о-о-ох!».

Певица пошла на повторный поклон, вновь блистая белью зубов, всем своим видом показывая, что петь для нее – никакая не работа и не перенапряжение, при котором сгорает сердце и нервы натягиваются раскаленными проводами, – петь для нее одно удовольствие, а уж петь для сегодняшней публики – и подавно, ибо она слышит ее восторг и любовь, нигде в мире она не видывала и не слыхивала таких восторгов...

Я боготворю Гоголя – как хорошо о нем написано на юбилейных почтовых конвертах, выпущенных к юбилею: «Н. В. Гоголь – русский писатель» – браво! Браво! Это равно надписи, придуманной Великим русским поэтом Державиным на могилу Великого русского полководца: «Здесь лежит Суворов».

Только, полагаю я, над подписью к Гоголю никто ничего не думал, просто на конверте больше не вмещалось букв, да и думать нам некогда...

Так вот, было произведение у Гоголя, которое я считал недостойным его пера, досадовал, что оно «к нему попало», – очень уж самодеятельно, примитивно – это «Женитьба».

И вот я на спектакле «Женитьба», в театре на Малой Бронной, хохочу, подпрыгиваю, слезы восторга застыт мне глаза...

«Э-э, батенька! – ловлю я себя на „внутреннюю“ удочку. – Что ж ты это в телячий восторг впал? Произведеньице-то...»

Нет, Гоголь не мог написать «произведеньице», да еще и «самодеятельное». Это мой
Страница 42

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
читательский вкус и уровень были не выше самодеятельных, и спектакли по «Женитьбе», которые мне доводилось видеть прежде, видать, были поставлены и сыграны людьми, мыслящими на моем тогдашнем уровне и Гоголя воспринимавшие на уровне самодеятельности.

Гоголевская «простота и вседоступность» ей-богу коварней воровства, она очень опасна для поверхностного и беглого чтения, что с блеском и доказала наша школа, преподнося этого гения из гениев, ухаря из ухарей наряду с «другими классиками». Но он не встает ни в какой ряд, ни с какими, в том числе и с нашими, величайшими классиками – он сам по себе и все тут!

Если великая русская литература состоит из множества разных и замечательных книг, то гоголевские «Мертвые души» – это целая литература! В одной книге – литература! И, между прочим, по современным меркам современных наших размножившихся, как лягушки в зарастающем рясной пруду, романистов – не очень и толстая.

Записи разных лет

В Ирландии я видел фотографию, огромную, во всю стену какого-то дома. На ней: долговязые, хорошие ребята с медальками на шее, вероятно, колледж закончили и снялись – на память. Внизу что-то написано. Я попросил перевести мне, что написано. А написано вот что: «Мы, дети Ирландии, сделаем свою Родину самой красивой, самой свободной, самой счастливой, самой богатой!»

«Мы сделаем!» – вот что самое главное в этой подписи, в этих ребятах. У нас же не только старые, но и молодые люди орут: «Вы сделайте! Вы нас накормите, а если можно, то и напоите, развлекайте нас, придумывайте».

И придумали – им на потеху – конкурс красоты. Дурость началась в Москве, потом на провинцию перекинулась – как же российская провинция без дурости, без подражания столицам...

* * *

Приезжал в глухую деревеньку Сиблу, что на Вологодчине, в которой был у меня дома немец по фамилии Копельгяйнен, Фриц, между прочим. Постройка не новая, я нанял работяг, чтоб кое-что подладили. И живем мы в ней с женой, она – между городом и деревней, там же наши великовозрастные дети, а внук с нами. Мне хорошо в общем-то живется: рыбачу, хожу время от времени с ружьем и много и податливо работаю.

Однажды сообщили мне, что приезжает немец из Кельна, журналист. А избу эту я купил, чтоб не так часто «доставали» из города, чтоб работать и дышать природой. Пошел я к председателю колхоза и говорю, что избу уже купил, спасибо, но мне нужна какая-то земля и вы покажите мне – земля-то все-таки колхозная, – сколько можно загородить, чтоб потом меня не судили, если лишка «прихвачу». И он мне сказал: «Виктор Петрович, вон туда – до горизонта, вон туда – тоже до горизонта, а вон туда не могу – там река. А эта земля всеми брошенная, загораживай, сколько надо».

Я загородил хороший четырехугольник. Посадил сосны, березы, тополя, кедры – журналист Саша Щербаков привез из Сибири бандероль с саженцами кедров. Посадил, да не очень удачно выбрал для них место, однако несколько кедров растут и по сию пору.

Однажды по телефону из Москвы мне Иван – знакомый журналист-переводчик – сообщил, что они едут вместе с фрицем. Расторопная милиция, услышав в телефоне «вражескую» речь, опередила немца с журналистом, походила вокруг моего дома, порасспрашивала, зачем немец едет и надолго ли – и, поверив мне, а может, и не поверив, удалилась. Операторская группа нашего телевидения наизготовке – помогает фрицу снимать. Я говорю, чтоб хоть оторвавшуюся-то доску не снимали. А Фриц по-русски понимает, уловил о чем речь и сказал, глядя на эту несчастную,

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
оторванную ветром доску, что немцы будут думать, что вы ее оторвали для оригинальности! И еще сказал, что, глядя на вашу территорию, все немцы будут думать, что вы – миллионер! Земля в Германии стоит дорого.

В подарок мне столичные телевизионщики привезли книгу Солженицына «Архипелаг Гулаг», и я ее читал все лето.

Фриц, типичный такой немец, сказал, что фрицев в Германии остается уже мало, как Иванов в России. Сейчас модными именами называют, Кристинами, Герхардами, Иоганнами, Альмавилами.

Я был в лодке на речке, когда услышал громкие, веселые голоса: «Виктор Петрович, не бойся! Немцы идут!» Правда, немцы. Типичный такой немец, как я уже сказал.

Я рыбу какую-то поймал. У меня была копилка. Накопил. Сели мы за стол. Фриц рассказывает, что едет из Москвы – Брежнева снимал. Теперь едет в Хельсинки. А явился он с кортежем! Как же, как же – на Западе трубят, что писатель в России совсем вывелся, а тут в одном Харовском районе на Вологодчине аж два известных за пределами района обретаются. Вот Фриц Копельгяйнен, корреспондент кельнского телевидения, и забрался в нашу Вологодскую область. Накормили мы, напоили немца. Оказалось, он очень любит песню «Вечерний звон». Мы попели, и я подарил ему сборник песен, где есть этот самый «Звон».

Тут секретарь райкома звонит; «Виктор Петрович, правда ли, что у тебя немцы?». – «Правда», – говорю. «Вот проклятые куда забралась, да еще из Кельна! Да еще капиталисты!.. Ой, чего делать-то будем? Ужас! Говорят, он и к Белову собирается?»

Белов еще дальше меня километров на семьдесят живет. Там ни дороги, ни жителей – ничего нет. Один Вася живет. Я говорю, да пусть едет, раз охота. Он хороший немец, и про оторванную доску ему рассказал, что ребята все засняли, чем вовсе вверх в тоску-печаль бедного секретаря...

И все обошлось нормально. Выдали, показали нас с Василием аж в семиминутном отрезке или клипе, как телевизионщики это действие называют, вместе с Мохамедом Али – чемпионом мира по боксу, и успокоилась Европа, не все еще писатели вымерли в России, живут вот и здравствуют два аборигена.

Я потом ездил за рубеж на сборище писателей-аборигенов. Сытые, в золоте все, богатые аборигены капитализма, не то что мы с Василием – хвати, так и носки дырявые. На ум, возможно, некстати, пришел мне тогда студенческий анекдот: два маленько подаатых студента, покачиваясь в стареньком, дребезжащем трамвае, о чем-то тихо-мирно беседовали, и вдруг один из них спрашивает у другого: «А ты знаешь, что такое человек?» Тот недолго подумал и сказал: «Что такое человек – я не знаю, но знаю, что это звучит гордо!..»

* * *

Вернусь к начатому разговору о неформалах. Когда меня спросили, знаю ли я таких, знаком ли? Сказал, что знаком только с красноярским Николаем Клепачевым. Знаком еще до того, как он сделался неформалом, просто как с человеком. Он ко мне в Овсянку приезжал, рассказывал все. Больше никого не знаю.

Что касается самого направления, явления как такового в нашем обществе, я считаю явлением закономерным и своевременным, потому что не можем же мы жить, не выражая ни своего мнения, ни своего слова, или дойдем до того, как в Челябинске: выходит учительница к исполкому с флагом, а другая за ней ковыляет и фанерку на палочке несет, а на фанерке сажей написано: «Дайте мелу!». Дойдет до такой формы протеста дело, будет женщина стоять с флагом у крайисполкома и молчать, и тогда попробуйте с ней что-нибудь сделать. Мы обязательно должны иметь возможность спускать пары.

Я не принадлежу к тем людям, которые говорят под одеялом, читают под одеялом, жалуются и возмущаются под одеялом. У нас очень много таких, к сожалению, хотя не думаю, что у нас кишмя кишат враги советской власти... Хватит нам уже этим заниматься. Но люди, по-своему думающие, люди, в силу своего культурного и нравственного уровня выражающие свое недовольство, а мы, между прочим, дожили до того, что у нас есть основания выражать свое недовольство и прошлым, и нынешним.

Я когда-то в свое время не подписал письмо против Солженицына, и вообще никаких таких писем не подписывал (слава Богу!), но я и не читал его книг втихую, не унижался до такой формы чтения. Мне в Москве предлагали: «Вот, прочитай, но за ночь, затем ее возьмут».

Во-первых, читать мне такую рукопись понадобится полтора месяца, с одним-то моим гляделом. Так уж лучше не буду я надсаживать, унижать себя и свое читательское звание. Лучшего читателя в мире обижать. Я прочел «Архипелаг Гулаг» позднее, когда мне подарили этот двухтомник.

...Я думаю, некоторым товарищам хочется стать оппозицией к существующей или существовавшей власти. Ну и будьте оппозицией! К власти, к партии, к КГБ. И вообще, к чему еще можно быть оппозицией? К мильтонам, которые иногда руки и ребра нашим трудящимся ломают. Будьте!

* * *

Я дважды побывал в Эвенкии, и меня очень тронул этот край. А до этого я побывал в пустыне Гоби, в Монголии, в период цветения пустыни. Это совершенно невероятная красота, и той жуткой пустыни, которая мне представлялась по карте, конечно, нет. Там есть выходы и камешника, и почвы. Очень много воды внизу. Вода начинается не как у нас – с родничка, она «потеет» в старом русле, ниже – уже чуть сырее, а еще ниже – уже течет ручеек: вода проступает прямо из земли.

И вот когда я посмотрел в первый раз пустыню Гоби и Эвенкию, то подумал, что у человечества еще есть резерв земли и пространства земного. Когда-то все равно нам придется жить сообща – и нужда, и все остальное заставят. Мы не заметили того, что сейчас уже всеобщая информация нас объединила, границы становятся все более условными. Авиация, информация, техника, технология – уже стирают да и стерли многие границы, во всяком случае, «железного занавеса» уже нет давным-давно. Да ничего хорошего он нам и не принес.

И мне подумалось: пространство между Обью и Леной и пустыня Гоби еще могут спасти тесно живущее в Европе человечество, если, разумеется, возобладает здравый рассудок, если прекратится зло, разделение между людьми, в общем-то, детьми Божиими, – если не вмешаются фашиствующие и коммунистические силы.

И вдруг я узнаю о том, что Эвенкию, оказывается, можно во имя каких-то сиюминутных благ затопить, погубить... И что-то во мне этому воспротивилось. Я человек импульсивный. Вы посмотрите: у нас два водохранилища, а всего в Сибири их 219, и как заметно в худшую сторону изменился климат. Как много мы потеряли. Я не знаю, чего мы приобрели в связи с этими могучими гидростанциями, но потеряли многое, а ведь намечается строительство еще нескольких гидростанций на Енисее и его притоках. Не хватает денег и технических возможностей, а то давно бы уже расправились с краем и Енисеем – во имя «светлого будущего», которое, правда, все больше и больше мрачнеет. Эвенкам и людям иных национальностей, проживающим в этом уникальном по самобытности и красоте крае, нужно продолжать любить, беречь свою малую Родину, не давать в обиду. Родина одна.

* * *

Я много раз бывал в Болгарии и люблю эту трудолюбивую страну. Там есть такое глухое (по-нашему) место – город Хисар. В этом Хисаре, в крепости, есть Дом творчества писателей. Там я сделал сценарий для двухсерийного фильма по повести «Кража», называется «Трещина». Где будет сниматься (если будет вообще), не знаю – у них там в литературе еще больше беспорядков, чем у нас. Написал несколько рассказов и большой очерк. Но не об экологии – я уже давал себе слово: никогда об этом больше не писать (хотя, кто знает жизнь идет) – после очерка «Думы о лесе». На него сразу хлынула почта, в редакции создавалась целая картотека, меня стали «привлекать» еще и еще выступать в защиту леса (а лес рубят, жгут, переводят до сих пор, и защищать его надо уже не на словах), и я понял – дело это бессмысленное, бесполезное и несколько лет этой больной темы вообще не касался.

Об Эвенкии я уже сказал. А в пустыне Гоби есть совхоз по выращиванию дынь, арбузов и огурцов, и там работают (работали) наши ребята и девчата из Волгоградского сельхозинститута. Они утверждают, что если когда-нибудь

Астафьев Виктор Петрович Русская мелодия astafevvictor.ru
человечество займется этой землей – оно спасет себя и свое будущее. В пустыне Гоби в году 260 солнечных дней. Этим похвастаться могут немногие. Если учесть, что на Фаррерских островах десять солнечных дней, то 260 – уже рай.

Но.. и там, и там живут люди, и не хуже, чем в Минусинской впадине, по солнечной активности равной Кисловодской впадине.

* * *

Собаку любить легче, ибо любят ее даже не половинкой сердца, а его оболочкой. Эта любовь отстраненная, полуабстрактная, она не требует ни ответственности, ни обязанностей, хотя есть дикие исключения: мещане всего мира готовы лить слезы по «поводу собачки» – «Комсомолка», «Брошенная во Внуково овчарка». И создавать Бима. Ни одно, подчеркиваю, ни одно! произведение, напечатанное в «Нашем современнике», а публиковались там и «Комиссия», и «Прощание с Матерой», и «Усвятские шлемоносцы», и многие другие произведения, которые составляют честь современной нашей литературы, ни одно из них не вызвало такую бурю откликов и писем, как повесть средней руки, будто специально для утешения современного мещанина писана, как «Белый Бим Черное ухо». И кино по повести такое же сентиментально-слюнявое, в нем, как и в повести, даже еще больше «чересчур»: «В Одессе все так могут, но стесняются».

В то время, когда оплакивали овчарку и Бима, в Вологде – мирном городе – мужчина изнасиловал и камнем размозжил головы двум девочкам. И никто, кроме бабушки и матери распутной, которая скоро и умерла, не оплакивал девочек. Соседи слышали, как убивали девочек, да не вышли, потом за три рубля купили венки. В Москве по три с половиной тонны мяса в сутки скормливается собакам, а в Вологде сделалось уже не с чем сварить детям похлебку.

Зато гуманисты!

Примечания

И все-таки скопанное, хитро упрятанное «хозяйство» № 36 парни с помощью не «покрасневших» властей восстановили и продолжают работать, уже и зрители, и туристы заезжают в Кучино.

Имеется в виду «Плацдарм» – вторая книга романа «Прокляты и убиты».

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!